



БАҲРОМ
ФИРЎЗ

РУҲСОРА

БАХРОМ ФИРУЗ

РУХСОРА

ДУШАНБЕ

«АДИБ»

1990

Нет мужества — не ищи счастья.

Саади

1. ДЕВУШКА ИЗ ХАЛКАСАЯ

Летом того года я окончил институт и уже оформил на кафедре свой первый «рабочий» отпуск, а она только что сдала документы в приемную комиссию. Познакомились мы случайно. Меня задержали в городе хлопоты, связанные с обменом просроченного паспорта и, если бы не это, досадное в тот момент обстоятельство, наверняка наши судьбы сложились иначе, и не было бы не только этой повести, но и многого другого в моей жизни...

Тот день никогда не изгладится в памяти. В глубокой задумчивости я стоял у фонтана, зачарованный переливчатой игрой струй. Вдруг кто-то окликнул меня, и я нехотя обернулся, все еще во власти медлительного звона воды, ленивой отрешенности мыслей и завораживающего блеска солнечных зайчиков. Неподалеку от фонтана нетерпеливо топтался проректор нашего института, и отрешенная лень мыслей оставила меня: кому не известен дотошный и властный характер проректора?! Сейчас он шевельнет тяжелыми бровями и грозно спросит: «Почему ты не в отпуске?» А меня удерживал в городе лишь просроченный паспорт. Срок его действия истек за неделю до госэкзаменов и кому, скажите на милость, придет в голову думать в это время о чем-либо другом, кроме экзаменов?

Сейчас же мне попросту нечего было делать и я, по привычке, каждый день шлялся в институт. А, собственно говоря, куда и зачем спешить? Может отпускник позволить себе скромное удовольствие — несколько дней беззаботной и безалаберной жизни? Ни тебе экзаменов, ни семинаров — гуляй по парку, ходи в кино, знакомься с девушками... Когда еще такая возможность в следующий раз представится! Слов нет, город порядком надоел, соскучился я по вольному деревенскому воздуху, но... Жить и работать придется все-таки в городе...

Сразу после госэкзаменов «коридорное радио» всю затрезвонило о том, что меня-де оставляют на кафедре. Такого я не ожидал, честно говоря, удивился и не поверил — самое время для

розыгрышей. Но... Все оказалась гораздо серьезнее, чем я думал. Особенно реакция сокурсников. Вдруг выяснилось, что претендентов на это место более чем достаточно, на меня со всех сторон посыпались остроты, поздравления и нарочитые соболезнования. Одни, оттянув за рукав в укромное местечко, жарко убеждали не отказываться от предложения, другие скептически улыбались, третьи небрежно отмахивались: «Бросьте трепаться. Это его-то оставят на кафедре?» Более всего меня обидело якобы «всеобщее» мнение о том, что я не достоин подобной чести. Гордый человек в таких случаях... А я не знал — гордый я человек или не гордый? Тем более, работать с самим Джура-заде... Можно ли мечтать о другом счастье?!

От этих мыслей немногочисленных советов я до того обалдел, что, когда меня пригласили в зал, где заседала комиссия, и ректор объявил: «Кафедра ходатайствует перед министерством о...»,— у меня в голове назойливо попискивала лишь одна, маленькая и серенькая, мыслишка: «А вдруг лаборантом назначат?». Я молчал, резонно опасаясь ляпнуть нечто совершенно несусветное, и молчание мое весьма удивило комиссию. Ректор, сухо кашлянув, посмотрел поверх очков вначале на меня, потом на заведующего кафедрой Джура-заде и несколько раздраженно спросил:

— Вы... Что? Не хотите работать в институте, который пять лет был вашим родным домом?

— Да нет,— замялся я и, набрав в грудь воздуха, по-солдатски гаркнул:— Согласен. Конечно. Спасибо.

Ну кто на моем месте стал бы расспрашивать комиссию о планах профессора Джура-заде. Я не осмелился, тем более, что у меня-то планов не было никаких...

Воспоминания — воспоминаниями, а ноги в это время сами несли меня к грозному проректору.

— У меня к вам просьба,— величественно шевельнул бровями профессор. — Отведите, пожалуйста, эту девушку в четвертое общежитие, найдите коменданта и скажите, чтобы выделил место. Вот направление...

Проректор подал мне листок бумаги и неопределенным жестом присоединил к нему девушку, которая стояла рядом. Абитуриентка?

На первый взгляд спутница моя ослепительной красотой не отличалась. Обыкновенная девчонка-десятиклассница. Впрочем, особенно разглядывать ее я не стал — не в обычае у нас парням девушек

разглядывать. Причин тут много. В дальних кишлаках и до сих пор старики на совместные игры мальчишек и девчонок косо поглядывают. А ведь я не городской. С другой стороны, меня всегда робость охватывает, когда с незнакомой девушкой приходится разговор начинать: вдруг брякнешь какую нелепость — виду не покажет, а в душе посмеется. В мыслях с ангелом небесным ее сравниваешь, а вслух о погоде бормочешь и от стыда сгораешь — до того коряво получается.

Некоторые девчата всерьез притворяются, что болтовня парней о погоде или новом фильме им интересна, и даже вопросы задают... Раньше, когда к нам в кишлак новое кино привозили, заодно и лектора присылали, чтобы перед началом сеанса политико-воспитательную работу проводили. Мне всегда казалось, что у всех девчат природный талант есть — из самого бессмысленного разговора его подлинную суть выловить. У скульптора спросили:

— Как вы работаете?

— Очень просто, — ответил он. — Беру камень и отсекаю все лишнее.

Вот так и девчата — отсекают все лишнее...

Мы уже почти квартал прошли и я, так и не глядя девушке в лицо, попытался завязать разговор:

— Поступаете в институт?

Девушка утвердительно кивнула головой, а меня аж передернуло от отвращения к самому себе. Спросил бы хоть на какой факультет! Комкать разговор мне не хотелось, и я лихорадочно раздумывал: о чем бы еще спросить, чтобы не показаться навязчивым? Я осторожно повернул голову и... Наши глаза встретились! В великой растерянности — осколки моего разбитого сердца со звоном и грохотом рассыпались по асфальту, я едва нашел в себе силы пролепетать:

— А почему до сих пор не дали место в общежитии?

— Не знаю, — девушка равнодушно пожала плечами.

Мне до смерти хотелось еще раз заглянуть в бархатно-нежную глубину ее черных глаз, но девушка отвернулась. Увела свой взгляд в пещеру застенчивости. Про себя я подумал, что она уже почувствовала свою власть над моим сердцем. Мне хотелось так думать.

— Откуда вы? Не из Файзабада?

— Нет, из Халкасяя.

— Из Халкасяя?! — тут было чему удивляться, и я, не скрывая своего удивления, оглядел свою спутницу с головы до ног. Девушка поняла причину моего изумления и горделиво улыбнулась. Теперь у меня была тема для разговора! Я чувствовал себя рыбой, выброшенной на песок и вновь возвратившейся в прохладную глубь вод. Девушка все еще улыбалась...

«Да она и впрямь еще школьница,— подумал я.— Лет семнадцать-восемнадцать, не больше. А когда улыбается, мелкие белые зубы сверкают, как рисовые зернышки. Фигурка у нее тоненькая, легкая, а кожа белая. Две тяжелые косы достигают талии и горделиво вздрагивают, когда она вскидывает голову. Характер, видать, крутой — вон, как упрямо и независимо поглядывает своими черными глазами. На бровях зеленовато-черный след усымы: вот откуда этот пряный и свежий аромат! Странно, еще пять-шесть лет назад девушек из Халкасяя привозили в институт чуть ли не на аркане — со многими уговорами и бесчисленными льготами. А сегодня... Сама приехала, да еще и общежитием не обеспечили. От жизни, друг, отстаешь,— упрекнул себя.— А ведь она, жизнь-то, течет, изменяется. Диалектика!»

— Вас могли бы и без экзамена принять, — сказал я, вспомнив прошлые годы.

— Чем это я хуже других?! — слова мои явно не понравились девушке, она нахмурилась и мгновенно погасила улыбку.

— Я не сказал, что вы хуже, наоборот...

— ???

— Вы... Одна приехали? — сбивчиво пробормотал я.— Вас разыскивать не будут?

— Да нет,— легкая тень улыбки скользнула по ее губам.— Родные согласны. Но если не поступлю... Больше не отпустят!

— Поступите! — я был уверен, что она поступит. Не может такого быть, чтобы она — да не поступила!

— ??? — крылья ее бровей вопросительно возметнулись вверх. — Вы тоже учитель или...?

— Я в том году закончил институт, а теперь буду работать на кафедре,— не удержался я от похвальбы.

— А-а-а,— наступившее вслед за тем молчание словно бы разъединило нас. Верно сказал поэт: «В доме красавицы не следует

кичиться знаниями». Теперь и пол словечка не скажет — где уж нам, деревенским, с таким ученым разговаривать! Дернул же меня черт за язык!

До общежития мы дошли в благопристойном и несколько отчужденном молчании.

Коменданта общежития на месте не оказалось. Я долго бродил из комнаты в комнату, заглянул в кладовку, подвал, но никого не нашел и лишь под вечер один сведущий человек (есть же такие люди — все знают) сообщил мне, что комендант занят ремонтом и раньше завтрашнего утра в общежитии не появится. Вот те и на: что я девушке скажу?

Спутница моя сидела на скамейке у бассейна, погрузившись в толстый том «Органической химии».

— Не будет сегодня коменданта,— виновато сообщил я ей, усаживаясь рядом.— Давайте утром придем. Сегодня-то вам есть где переночевать?

Девушка из Халкасия задумалась. Тень легла на ее лицо, легкая тень обиды и — неожиданно — печали, но длилось это всего лишь мгновение, потому что она тут же сурово сдвинула черные крылья бровей:

— Домой поеду. Утром здесь встретимся.

— Лишнее беспокойство,— нерешительно произнес я.— Да и поздно уже. Наверное, и автобусы не ходят. «Черт бы побрал этого коменданта!»— добавил я мысленно и взглянул на девушку.

Сжавшись в комочек, она сидела на скамейке — самая одинокая на всем белом свете. Одинокая и обиженная. На весь белый свет. Я представил, как она вернется сегодня домой, как сочувственно будут глядеть на нее родные: «Ну, что? Ждали тебя там? Обрадовались? Даже места в общежитии не нашлось!»...

— Знаете что? — спасительная мысль молнией сверкнула в моей голове, и я даже задохнулся — так проста и прекрасна была эта мысль.— А чего мы здесь сидим? Пойдемте к нам. В наше общежитие. Будете спать в комнате у наших девушек, свободные кровати есть — сейчас каникулы...

— Э-э-э, зачем людей беспокоить,— девчонка тонкими пальцами растерянно перебирала страницы своей «Органической химии» и

украдкой пыталась поймать мой взгляд: что-то она хотела прочесть в моих глазах. Что? — Я лучше к дяде пойду...

— Поздно уже,— твердо сказал я и подумал, что наверняка нет у нее никакого дяди в городе, что девчонка просто боится и надо немедленно рассеять все ее страхи — Девчата у нас боевые. Они вас в беде не оставят— подскажут, посоветуют, да мало ли что. Пошли!

И мы пошли. Девушка из Халкасаия то семенила рядом, то отставала на полшага, но шла довольно уверенно и, хотя разговор наш состоялся из обрывочных слов: «Устала?» — «Нет», «Проголодалась?» — «Не очень», я не чувствовал в ней какого-то особого беспокойства и, честно говоря, не ожидал подобной смелости. Поздно вечером, с незнакомым парнем, в чужое общежитие — кто поверит, что девчонки из Халкасаия стали такими отчаянными?

Халкасай я знал. Да и кто не знает — стоит лишь голову поднять — вон он, Халкасай, крохотными кибитками прилепился к самому гребню хребта и, кажется, парит над окрестностями. Впрочем, это так лишь из города кажется. Сами халкасайцы прекрасно знают, что прямо за кишлаком вздымается еще одна скалистая гряда, за ней — вторая, третья и так до самого неба. По прямой от Халкасаия до города — всего двадцать четыре километра и все вниз, вниз, недаром в кишлаке шутят: «Стоит только поскользнуться — мигом в Душанбе окажешься!» Многие кишлачные мужчины работают в городе, но окончательно вниз перебираться не спешат. А зачем? Кишлак богатый, благоустроенный — электричество, магазин, клуб, библиотека, большая двухэтажная школа, дома колхозников под шифером стоят, антенн телевизионных не счесть — чем не город?

И все же отличие было: в поговорку вошла приверженность халкасайцев старым обычаям и древнему укладу жизни. Куда более отдаленные кишлаки давным-давно сменили свой жизненный уклад, а халкасайцы стояли, как утес — ни благоустройство, ни электричество, ни телевизионные программы потрясти их жизненные устои, казалось, не могли.

Помнится, года четыре назад, несколько комсомольских активистов нашего института (и меня в их числе) направили в Халкасай с особым поручением...

От околицы кишлака и до правления колхоза водитель нашего микроавтобуса не снимал ладони с блестящего колпачка сигнала —

кишлячные улицы были переполнены детворой. «Небось, не меньше десятка пострелят в каждой семье», — опытно определил водитель.

«Особое» наше задание никакой таинственностью не отличалось. Наоборот, оно требовало гласности, гласности и еще раз гласности. «Привлечь максимальное число девушек из Халкаса в стены родного института!» — так кратко сформулировал нашу задачу секретарь комитета комсомола, посоветовав действовать решительно и энергично.

Так мы и действовали. Пока в клуб собирался народ, мы распределили обязанности на сегодняшний вечер: Лутфулло расскажет о роли женщины в строительстве социализма, я — об институте, его факультетах, специальностях, которые мы получим. Даври и Назокат — о великолепных условиях, созданных в нашей «альма матер» для девушек-студенток. Девушкам — выпускницам десятых классов, собственно говоря, и предназначалась наша лекция.

Незадолго до начала мероприятия Лутфулло заглянул в клуб и ахнул. Через его плечо глянул в раскрытую дверь я и тоже ахнул. Потом мы молча переглянулись. Зал был полон! Но кто сидел в зале?! Мужчины, старые и пожилые, пожертвовавшие ради удовольствия выслушать нас неторопливой и приятной беседой в ближайшей чайхане, десятка полтора усатых, как гренадеры, парней и четыре — всего лишь четыре! — девушки. Они молчаливо-испуганной кучкой сгрудились на скамейке в дальнем углу зала и лишь еще ниже опускали головы, когда мы дружно умоляли их пройти вперед.

Лекция прошла блестяще. Никто не шумел, не переговаривался, слушали внимательно и заинтересованно, а по окончании мероприятия сердечно благодарили: «Спасибо, дорогие гости, спасибо! В такую даль приехали ради нас! Спасибо!», «Свет ваших знаний осветил нашу темноту!», «Вашим устодам-наставникам спасибо, хорошему они вас учат!», «Верные вы слова, сынки, говорили, правильные слова, на сто процентов верные. Абсолютно вы правы, дорогие!» И разошлись.

Один из выпускников нашего института как раз в Халкасае гостил и нас к себе ночевать позвал. Его отец — колоритный такой старец, общительный, весь вечер наши сердца беседой услаждал. Учиться-то ему, по всему видать, недолго пришлось, но жизнь дед знал, как собственный халат, и за словом в карман не лез — не зря же телевизор в доме и газеты каждое утро почтальон приносит.

Лутфулло повел было речь о положении кишлачных женщин: неграмотные-де они, счастья в жизни не видят, а мужчины целыми днями в чайхане...

Дед хитро прищурился на разгорячившегося Лутфулло, мягко тронул седую бороду и сказал так:

— Правильно, сынок, говоришь, но я тебе еще правильнее скажу: наша жизнь для женщин спокойнее. Может быть, они и не так красиво одеваются, не так вкусно едят, в театры не ходят, но, клянусь аллахом, спокойней живут. Не-е-ет, ты подожди, дорогой, не возражай пока,— старец жестом твердой жесткой ладони остановил рванувшегося в спор Лутфулло. Ладонь у старца что надо: крепкая ладонь, мужицкая...— В городе женщины работают наравне с мужчинами. Так? А кто пеленки, я спрашиваю, стирает? Кто обед готовит? Кто на базар и в магазин ходит? И, спаси аллах, на работу опоздать! Вы говорите, что освободили женщину, как это... по-научному,—старец пожевал губами, припоминая, как это будет по-научному. Экий эрудированный дед! Таких дедов и в городе не на каждом углу встретишь.— Яман... эман... эманципировали! Себя вы освободили, а не женщину эманципировали. Тьфу! — разво-евавшийся дед залпом осушил пиалку с остывшим чаем, аккуратно вытер край уголком скатерти, передал пиалу сыну и продолжил с новыми силами. Трибун! Этот, как его... Цицерон!

— Наши женщины тоже от коллектива не отрываются. Нет. На самосознании живут. Если детей нет или есть кому за детьми присмотреть — она дома не сидит, в поле работает... По собственному желанию трудиться идет!... Вот ты сказал, — старец дружелюбно хлопнул Лутфулло по коленке, — что женщины должны идти в первых рядах. Что ж, по-твоему, женщины нашего кишлака сидят, сложив руки? Э-хе-хе-хе! Молод ты еще, сынок! Из того самого Халкася, если не ошибусь, восемь женщин — Герои. Считай, у каждой из наших женщин чуть ли не по тубетейке орденов да медалей! Верно, я говорю? — дед мотнул головой в сторону сына: подтверди-ка.

Парень лишь ухмыльнулся и заметил дипломатично:

— Восемь Героинь — это верно, и медалей у каждой хватает. За многодетность. Они — матери-героини...

— А какой еще героиней должна быть баба? — гремел неугомонный дед.— На тракторе верхом скакать? Горы переворачивать? Ее дело — детей рожать и растить! Моя бы воля, за одно за это...

Дальнейших речей деда я не слышал — проснулся лишь утром, когда мы приступили ко второй части нашей агитационной кампании: личным беседам с родителями десятиклассниц. Вместе с председателем сельсовета, директором школы и инструктором райкома комсомола пошли по домам.

Без славы завершился наш поход. Я всегда думал, что хорошо знаю родной язык — куда там! — негодующие жительницы Халкася, те самые «спокойные и геройские» женщины, вот кто истинный хранитель наших заповедных сокровищ. Каких только слов мы не наслушались! Каких цветастых выражений и словосочетаний! В конце концов удалось уговорить родителей лишь двух девушек — отцом одной из них был сам председатель сельсовета, но по уверенным глазам ее матери было ясно, что не пройдет и недели, как девица, под любым предлогом, будет дома... С тем мы и уехали. На мой взгляд, детей на кишлачной улице за это время прибавилось.

Что-то у меня сегодня день воспоминаний складывается. Старею? И не только воспоминаний... Неудач тоже. Ни одной из наших девчонок дома не оказалось. Куда их только унесло? Девушка из Халкася смотрела на меня глазами, полными отчаяния, и ресницы у нее дрожали от близких слез. Что же делать? Я еще раз подергал двери «девичьих» комнат. Никого. Странные чувства обуревали меня. С одной стороны, было приятно и радостно проявлять заботу о столь симпатичной девушке, с другой стороны... Из глаз этой милой и несравненной вот-вот хлынет Ниагара слез. Что делать? Решения в этот день я принимал на удивление быстро.

— Вот что,— резко, стараясь скрыть свой стыд и страх и не глядя в глаза девушке, сказал я.— Я в комнате один живу. Будете спать на моей кровати...

— Что-о-о?! — девушка вытаращила глаза и, презрительно наморщив нос, отступила назад.— Я думала...— бледнота заливала ее лицо.— Я думала, что вы человек... И поверила...— договаривать она не стала, лишь с отчаянием махнула рукой и бросилась к выходу.

— Пойдите! Остановитесь! Вы не поняли... — закричал я, метнувшись к двери.— Что случилось? Куда же вы? Что я плохого вам сказал?

— Хватит! — резко оборвала меня девчонка.— Поняла. Отвратительно все это. Идите к черту со своим общежитием и со своим

институтом! — горькие рыдания перехватили ей горло и, легонько отстранив меня рукой, она шагнула в темноту.

— Ну вот,— потерянно пробормотал я.— Проявил заботу!

Меня трясло от злости на самого себя, коменданта общежития, наших девчат, эту недотрогу из Халкасия и весь этот чертов кишлак. Эх, зря я ей не ответил! Но злость постепенно проходила, и я с раскаянием подумал о том, что девушка не виновата, откуда ей знать о моих намерениях, в городе для нее все чужие... И зачем только я ее отпустил? Куда она пойдет? Был бы сейчас рядом Лутфулло — он бы прямо сказал: «Лучше б тебе умереть, друг мой. Двадцать три года живешь на свете, а ничему так и не научился! Обидел беззащитную девушку и выгнал на улицу. Поступают ли так мужчины?» Лутфулло всегда выражается не только высокопарно, но и определенно — душой, даже ради дружбы, не покривит.

Все это я додумывал уже на бегу. Чуть ли не кувырком скатился с крыльца, со света — во тьму, налетел на деревце и, едва удержавшись на ногах, схватился за тонкий ствол.

— Что — охмелел?

Суфи стоял рядом — чуть не сшиб я его, и хохотал во все горло. Я отвернулся.

— Да ты не обижайся, чужак,— Суфи шагнул ко мне идохнул в лицо водочным перегаром.— Заболел, что ли?

— Иди... ты! — я оттолкнул его в сторону и помчался по улице.

Ну и набегался я в тот вечер! Увидел бы кто из знакомых, подумал — беда случилась а и впрямь — беда. Я расталкивал прохожих плечами, наступал на ноги, у кого-то выбил стопку книг из рук — мне вслед неслись бранные слова, но я ничего не слышал. Вот она! Я схватил девушку за плечи, рывком повернул к себе... Громкий, негодующий крик так и резанул мне уши. Я отшатнулся. Не она. Бедняжка. Спряталась за спины подружек и поглядывает на меня с ужасом и интересом. Задыхаясь, я кое-как пролепетал слова извинения и побежал дальше. Дружный девичий смех раздался вслед, но я даже и не оглянулся. Смешно им, видите ли.

Свою подопечную я нашел на остановке автобуса. Увидев меня, она отвернулась. А я, уже шагом, шел к ней и приглядывался — не ошибиться бы вновь. Она!..

— Вы не поняли... я не это хотел сказать... обиделись, — я глотал воздух, как рыба на песке, и никак не мог объяснить, что я хотел сказать там, в общежитии. Автобус, прозрачный как аквариум, вылетел из тьмы и остановился рядом с нами. Девушка шагнула к подножке, но я — сам не знаю, как осмелился! — схватил ее за руку:

— Подождите! Не надо!—умолял я ее, а она со злостью тянула свою и мою руку к себе, порываясь сесть в этот дурацкий аквариум.

— Отпустите! Человек вы или... — в ее голосе закипали слезы, но я не мог, не хотел выпускать из своей ладони ее маленький крепкий кулачок — стоило ей уйти, и моя жизнь оборвалась бы. Это я знал наверняка.

Наша схватка не осталась незамеченной. Любопытные пассажиры высовывались в окна, выглядывали в дверь:

— Эй! Отпусти!.. Зачем девушку обижаешь?!

— Хоть бы постыдился — руки ей выламывает!

— Слышишь, дорогой! Не отпускай! Не давай уйти! Где такую еще красотку найдешь?!

— Да оставь ты ее! Кому такая... нужна.. Не птичье молоко.

Меня ругали, поощряли, грозили... Какой-то коренастый мужчина все норовил достать меня из окна здоровенным, как чайник, волосатым кулаком и кричал:

— Эх, жаль, не место — ты бы у меня все зубы свои проглотил!

Так я и знал — прорвалась Ниагара! Слезы у девчонки хлынули рекой, слышно было даже, как они крупными каплями стучат по асфальту. Я отпустил ее кулачок и растерянно топтался, готовый сесть с ней в автобус... Девушка, низко нагнув голову, молча и отрешенно побрела прочь от автобуса.

Я шагал рядом и размышлял о капризах женской природы. Вот эта, например, ведь слова доброго еще мне не сказала, а... Приворожила! Другие же красотки... (По природной застенчивости широких знакомств в их кругу у меня не было, но я полагал, что, по книгам, кинофильмам и рассказам друзей, хорошо знаю этот круг.) особых симпатий у меня не вызывали. Скорее напротив... И трех слов не скажет, а уже скучно слушать. Или сплетничают, или сами себя хвалят. Бывало со мной такое. Увидишь на склоне горы яркое пятнышко — ну, думаешь, тюльпан! Подбежишь поближе — тряпица! Со стыдом возвращаешься на

тропинку, угрюмо бормоча под нос: «Какой дьявол эту тряпку занес туда?!».

Мы молча пересекли проспект Ленина и глухим переулком вышли на улицу Хайяма. Странная эта улица — она, словно ворот чапана отделяет равнинную часть города от нагорной, где домики ступеньками лепятся один над другим. Девушка остановилась и растерянно огляделась по сторонам.

— Где здесь улица Зайнаббиви? — все еще не глядя на меня, сердито спросила она, и я улыбнулся в душе: заговорила все-таки! Не хотела бы разговаривать — вон магазин, фонари горят, люди ходят, могла бы и у них спросить...

Квартал этот я знал хорошо — столько лет агитатором в этом районе был! Всех избирателей, чуть ли не в лицо, знаю... Тут и идти-то всего ничего. Пошли. На перекрестке девушка остановилась;

— Вы идите, — тихо попросила она. Все еще обижается?

— А вы куда?

— У меня дядя... Здесь у него дом...

— Он хороший человек?

— Хороший... учитель. Я с его дочкой дружу.

— Может быть... я вас провожу. На всякий случай. Мало ли...

— Нет! Нет!.. Возвращайтесь. Не надо...

Я остановился. Тон у нее очень серьезный — не обиделась бы опять, если настаивать начну.

— Ладно. Утром приходите. Обязательно приходите, слышите? — говорил я ей уже в спину — девушка уходила не оборачиваясь, лишь галошки по гравию шаркали. Быстро так — шарк, шарк, шарк...

Несколько мгновений я постоял, прислушиваясь к скрипу и шарканью ее галош. Потом шаги стихли... Ну и денек мне выпал сегодня! И не то, чтобы настроение плохое, а так... Будто готовился, готовился к экзамену, а ответить не смог. Поплелся потихоньку к себе в общежитие, размышляя о том, что в кои-то веки встретился на моем пути ангел, а я и его ухитрился обидеть. Надо было пойти посмотреть, где это ее дядя живет?

Пути человеческие неисповедимы. Никому не дано знать будущего, и мог ли я предполагать, что придет день, и хозяин этого неизвестного дома понадобится мне?

2. РУХСОРА

Проснулся я рано и долго валялся в постели — солнечные зайчики беспорядочно плясали на стекле, и такими же беспорядочными скачками я думал о вчерашнем дне, о жизни своей...

Интересная девушка... А обиделась зря. Впрочем, на ее месте я бы тоже обиделся. Скажете, нет? Придет или не придет? Где письмо проректора? Вот оно — письмо. Куда она без него? Ладно, пару часов здесь подожду, а потом подамся в четвертое общежитие. Придет или не придет?

Нет у меня таланта с девушками знакомиться. Ну что поделать — нет таланта. Вон другие парни — слово за слово, смотришь, уже девчонка хохочет, а он ей — лучший друг. Мало я читаю, вот что. Ни одного романа в последнее время до конца не осилил. Правду говоря, и цена этим романам — грош в базарный день. Но все же. Читать надо, развиваться. А то... Так и просижу весь век... «в девках». Раньше я таким не был — хватало энергии и глупости анекдоты в записную книжку записывать, поучительные бейты, хлесткие словечки. Слава аллаху, понял потом, что чужими зубами хлеб не жуют. Хотя — кому что...

Вон Исрофил-заде... Он и по своему предмету ничего не читает, а уж художественную литературу... Зато на общие темы — краснобай, каких поискать. И в институте авторитетом пользуется, чуть ли не передовым преподавателем считается. Хотел бы я знать, кто и как это определил? Наша группа терпеть его не могла. Как он лекции читал? Откроет свой конспект составленный, видать, еще во времена Адама и Евы, и пошел бубнить. А мы записывай. Сколько часов, дней угробили мы на переписку этого конспекта?!

Любой другой на его месте давно бы уж собственный конспект наизусть выучил, а Исрофил-заде и на это не способен. Иной раз наберется смелости, отойдет на два - три шага от стола и тут же возвращается — никак не может мысль собственными словами выразить. Помнится, вышел он однажды среди лекции из аудитории, а Суфи возьми да переверни несколько страниц в его тетради... Пришел Исрофил-заде и, как ни в чем не бывало, стал читать дальше. Совсем другую тему... И кому нужны такие лекции? Лучше уж учебник — там и яснее, и четче все изложено. А чего нет в учебнике, того и сам Исрофил-

заде не знает. Вначале мы пробовали обращаться за разъяснением, а потом рукой махнули — что толку?

В последнее время мы на его лекциях дремать приспособились. Устроишься поудобнее, ручку в страницу уткнешь и дремлешь. Хитрец Суфи, тот умудрялся в полудреме еще и слова писать. Одни и те же, правда; «О, Лейли, Лейли, Лейли...» Конечно, были ребята, которые слово в слово лекции Исрофил-заде записывали и наизусть зубрили. Я их не любил. Готовые бюрократы растут — эти-то уж сами думать не станут, все, что полагается по службе знать, — наизусть забубрят.

А впрочем... Наверное, не только в краснобайстве тут дело. Мало ли я знаю ребят, которые ни красноречием, ни атлетическим сложением не отличаются, а вот поди ж ты — находят с девушками общий язык. Нет, никогда не постичь мне тайны девичьих сердец!

Так заключил я свои утренние размышления и вдруг почувствовал, что голоден. Даже зверски голоден. И обрадовался. Значит, настроение у меня хорошее. Можно сказать, отличное настроение. Это уж самая верная примета; нет настроения — нет аппетита. Вот вчера, например, целый день ни крошки во рту, и не хотелось. «Вставай, лентяй! — прикрикнул я на себя.— Вставай, одевайся и иди в чайхану!» Я встал, оделся, умылся и пошел в чайхану.

У одного из стариков, что вечно сидели тут, у входа в чайхану, пили чай, беседовали и между делом, торговали то яблоками, то персиками и виноградом, то сахарной курагой— смотря по сезону, я купил тяжелую гроздь подернутого сизоватой дымкой винограда и присел на свободный топчан. Люблю ранним летним утром посидеть в чайхане. Тихо, чисто, уютно и радостно. Даже не понять, откуда берется эта радость. Плещет в стремительном арыке вода, воркуют горлинки, звонко «бьет» свое извечное «пить-полоть, пить-полоть» перепел... Славно!

Чайханщик — дядюшка Рамазан, принес на цветастом подносе две кунжутные лепешки-кульчи, пиалку и чайник с зеленым чаем, поставил рядом со мной на топчан, справился о здоровье, настроении и с достоинством удалился к своим, надраенным до блеска, самоварам. Пять лет назад, когда только-только переступил порог института, таким же вот ранним утром я зашел в эту чайхану, и дядюшка Рамазан впервые подошел ко мне с подносом...

— Амак¹, мне хватит одной лепёшки,— краснея от смущения, проговорил я, и дядюшка Рамазан впервые улыбнулся мне. Сел рядом, расспросил, из каких я мест, где буду учиться, а потом пояснил:

— Вы — наш гость, сынок, а по обычаю, гостю не подают одну лепешку. Кушайте на здоровье, сколько сможете — съедите. Хлеб мы не выбрасываем...

Помнится, было жарко, солнечно... В первый раз я был один в огромном городе — боязно и интересно, и одиноко... Вышел из чайханы, сполоснул у фонтанчика руки, поглядел на мальчишек, пускающих по арыку кораблики, смотрю, а по другой стороне улицы наш односельчанин идет. Ох, и обрадовался же я!.. Догнал, поздоровался — почти до полудня бродили мы с ним по городу и только тогда я вспомнил о своем чемоданчике! Ох! Меня будто молния поразила. Аттестат зрелости, паспорт, приписное свидетельство, деньги, справки, характеристики... Ох! Я так обрадовался встрече с односельчанином, что совершенно забыл о чемоданчике — он так и остался у фонтанчика. Что же теперь будет?

Еще с детства я знал множество ужасных историй о городских ворах и аферистах, и теперь, в горе и отчаянии, на каждого горожанина смотрел, как на разбойника, похитившего мой бесценный чемоданчик. Лишь много после я понял нехитрую истину: жулик, где бы он ни жил, в городе или деревне, не имеет ни рода, ни племени, он просто жулик, и все. И честных людей на свете во многие тысячи раз больше.

Вне себя от горя я, в довершение ко всему, заблудился и до фонтанчика добрался уже перед сумерками. Конечно, глупо было и надеяться — чемоданчика не было.. У меня руки опустились, теперь хоть в петлю головой... Седоусый шашлычник, что с самого утра орудовал блестящими шампурами в дальнем конце площадки, сейчас неторопливо собирал свои нехитрые принадлежности и искоса поглядывал на меня:

— Что случилось, дружок, потерял что-нибудь? — лукаво спросил он, и, едва взглянув на его лицо, я понял, что пропажа нашлась. Нарочито сурово прочитав мне нотацию, седоусый волшебник достал из-под паласа чемоданчик...

Опять меня на воспоминания потянуло, а спутницы моей что-то не видать: из чайханы вход в наше общежитие, как на ладони, пропустить ее я не мог. Расплатился я с дядюшкой Рамазаном и помчался в «четверку». Еще издали я увидел, что девушка из Халкасия сидит на той

¹ Амак — вежливое обращение к мужчине средних лет.

же самой скамейке, сосредоточенно углубившись в свою «Органическую химию», а на двери комендантской, как и вчера, висит здоровенный замок.

Я с облегчением перевел дух, постарался придать своему лицу слегка обиженное выражение (хотел бы я знать, как это выглядит со стороны!) и этакой независимой походкой направился к девушке. Она меня не замечала, мучительно продираясь сквозь дебри молекулярных связей, растворимых и нерастворимых осадков, кислот и окислов... Тугие косы витой рамой из черного тяжелого дерева обрамляли ее чистое и свежее, как осеннее яблоко, лицо, алые губы шевелились. Мальчишеский восторг рассветным холодком коснулся моего сердца: красивая девушка! До чего же хороши горянки; из Халкаса! Стройные, легкие, а лица — хоть с каждой картину пиши!

— Привет, обманщица!

— Здравствуйте! — тихо сказала девушка, откладывая в сторону книгу. — Почему это я обманщица?

— А я вас там, — махнул я рукой в сторону своего общежития, — жду, жду...

— Я и не обещала туда прийти...

Действительно, с какой стати она должна была туда идти? Чтобы доставить мне удовольствие — проводить ее два квартала? Кто я такой?

— Зря вы... вчера... Обо мне плохо подумали. Разве можно подозревать в чем-либо плохом такого симпатичного парня, как я! — с натугой пошутил я.

— Сами вы... подозрительны, — усмехнулась девушка. — Да к тому же еще и... хвастливы...

— Не-е-е, я и вправду хороший, — с напускной серьезностью сказал я. — Не зря же меня пять лет подряд профоргом избирали. Хорошо, что всего пять лет учиться пришлось, а то бы до самой пенсии за должниками бегал...

— Что вы этим хотите сказать? — нахмурилась девушка. А я и сам не знал, что хотел сказать, лишь бы еще раз увидеть, как скользнет по ярким губам улыбка, волнисто дрогнут косы!...

— Я хотел сказать, что человек я хороший, даже, в какой-то степени, государственный, — заторопился я и возликовал: улыбнулась!

— И поэтому я должна была спать на вашей кровати? — ехидно усмехнулась она.

— Ну-у... Сам бы я ушел к ребятам, это раз, а во-вторых, что вы могли сделать вверенному мне имуществу? Я уже пять лет на этой кровати сплю — и ничего. Цела.

Девушка, смешливо фыркнув, уткнулась в книгу, но тут же подняла голову:

— Что? И сегодня целый день на этой скамейке просидим?

Я всегда удивлялся способности девчонок несколькими словами передать целую бездну информации. Казалось бы, что особенного она сказала, а ведь в этих словах были и милое кокетство, и прощение за вчерашнюю обиду, и приглашение к разговору, и... надежда на будущее! — вот что самое главное. Надежда на бу-ду-щее! Она сказала: «Мы! », а мы — это значит: она и я!

Почти полтора часа мы ждали коменданта и одним мгновением пролетели эти полтора часа! Мы спохватились, когда он вновь вешал на дверь свой здоровенный замок. Я выхватил из кармана записку проректора и, торопливо развернув, прочитал фамилию девушки:

— Фамилию теперь знаю, а зовут-то вас как?

— Рухсора,— улыбнулась она.

— А меня — Вафодор.

Девушка не сдержала смешка. Ну вот, и она тоже. Всем, кому я ни представлюсь, почему-то смешно. А что тут смешного: Вафодор означает — верный. И все.

Но многие девушки почему-то не верят, думают — шучу. Одно время я представлялся кратко: Вафо! Отец, узнав, об этом, рассердился: «Не пристало человеку сокращать свое имя! Настоящему человеку!» — подчеркнул отец, и я послушался его совета. Мне всегда хотелось стать настоящим человеком.

Лишь к полудню Рухсора устроилась в общежитии. В основном здании шел ремонт, и комендант, почесывая заросший сивым волосом затылок, выделил ей и еще одной абитуриентке крохотную комнатку во флигеле, приткнувшемся в дальнем углу двора.

3. СМЕЛОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ...

Какой там обмен паспорта, где ты, «вольный деревенский воздух»?! Третий день с утра до вечера я дышу бензиновой гарью на автобусной остановке или с деловым видом фланирую у ворот

четвертого общежития. Даже обедаю тут же, в столовке напротив. И всякий раз, когда в воротах мелькает девичья фигурка, сердце мое стремительно ухает в пропасть: она! Но Рухсора не появляется, и я вновь, дурак-дураком, торчу на остановке или полирую асфальт вдоль ворот. Прийти к ней в гости просто так, без приглашения, я не осмеливаюсь... Чего я только не передумал за эти долгие дни и часы ожидания! То во всех подробностях представлял нашу «случайную» встречу, то ругал себя на чем свет стоит: «Ну, подумай своей непутевой головой — до тебя ли девушке? У нее сейчас все мысли экзаменами заняты. Если бы ты был ей хоть капельку нужен, могла бы, ради приличия, сказать: «Приходите, помогите...» Так ведь не было этого. Намекал же ей: «Может, что разъяснить потребуется?» Ну и что? Сделала вид, что не поняла намека. Промолчала. Эх ты, ухажер!..

И ничего с собой поделывать не могу: третье утро подряд ноги сами к «четверке» несут. Вот уж точно, как пишут в современных романах: «дисгармония ума и сердца». А у девушки, может быть, давным-давно жених есть, может, она еще с колыбели с кем-нибудь обручена — она же из Халкасия, а там девушки по своей воле замуж не выходят. «Тьфу! — вновь одергиваю я сам; себя.— О каком замужестве речь? Мы и виделись всего-то два раза».

На третий вечер я не вытерпел — будь, что будет: не боги горшки лепят, а смелость города берет! Скажу, что шел мимо, случайно вспомнил, зашел на всякий случай проведать... Знала бы Рухсора, с каким страхом, стыдом и сердечным трепетом, с каким волнением, остерегаясь всех и всякого, я шел к ней!

По вечерам у нас летом в доме никто не сидит — при малейшей возможности на улицу выходят, стены дома все еще дневной жар хранят, а на улице свежо, прохладно... За эти дни девушек в общежитии стало много, и все они были тут как тут. Во дворе. Я шел, как николаевский солдат под шпигрутенами, и едва не спотыкался под их взглядами. Помоему, из всех девушек лишь одна Рухсора сидела в этот вечер в комнате. Увидев меня, она до того растерялась, что меня в пот бросило.

— Не ждали? — наконец вымученно улыбнулся я.

— Не... не знаю,— дрожащими пальцами Рухсора накинута на голову платок, прикрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Я не видел

в ее глазах ничего, кроме ужаса и растерянности. Нормальные герои всех современных повестей и романов в таких случаях говорили что-нибудь мужественное и гордо удалялись. Я не мог «гордо удалиться». Я знал, если уйду, то все рухнет. Рухну сам, рухнет и разлетится осколками мое сердце, душа, сама жизнь... Все еще дрожащим голосом я пробормотал несколько вопросов и, не услышав ответа, сник окончательно. Что делать? Кто говорил, что в подобных случаях надо шутить напропалую, и пусть хоть земля треснет, а ты шути! Ну помоги мне, аллах...

— Вы прибыли сверху,— я поднял палец к потолку: где-то там, по моим предположениям, находился Халкасай.— И, наверное, настолько близки к ангелам небесным, что земную пищу отвергаете? Или аппетита нет от страха перед экзаменами?

— Не отвергаем... Кто вам сказал? — робко улыбнулась Рухсора.

— Что-то я вас в столовой ни разу за эти дни не видел.

— Да-а... Я это... Здесь обедаю.

— Как арестантка — на хлебе и воде?— деланно ужаснулся я.— Или, как зимовщик на льдине,— на консервах?

— Не привыкла я еще к консервам... Из дома мясо жареное прислали...

— Ладно,— я решительно поправил воротник рубашки.— Идемте. Сегодня я вас накормлю обедом, а потом вы меня — жареным мясом.

— Нет уж, спасибо! Куда нам... по столовым ходить!

Зло так сказала, с иронией. А может, и незло, и не с иронией — поди, пойми. Я попробовал настоять на своем, но Рухсора тут же замкнулась в себе, и молчание морозным облаком окутало нас. Боюсь я такого молчания. Как омут оно — засосет и не выплывешь. Так и сгинешь в ледяной глубине. Шути, брат, шути напропалую!

— Консультация еще не требуется? — как можно веселее спросил я. — Пятилетний опыт подсказок за плечами имею!

— Вы уже закончили институт, заждались, небось, на работе-то? — ехидно прищурилась Рухсора, и я перевел дух. Вот оно что! Девушка жаждет понять, чего ради я здесь болтаюсь, почему не отбываю по месту назначения?

— А у меня теперь работа такая... Вас учить.

— Интересно, что у вас в дипломе написано: учитель или агроном?— вновь улыбнулась Рухсора. Хорошая какая улыбка у нее: добрая, ясная.

— Конечно, агроном. Но... Меня в институте работать оставили, Может, в вашей группе буду семинар вести,— я нарочито солидно покашлял в кулак.

— Не шутите? — с какой-то неизъяснимой тревогой и облегчением спросила Рухсора. Быстро спросила, очень быстро и требовательным взглядом повторила: «Не шутите?» Под таким взглядом не соврешь, не пошутишь.

— Не шучу.

— Значит... — Рухсора на мгновение задумалась и твердо повторила: — Значит, можете консультировать!— она повторила это так, словно поставила на какой-то, очень важной, бумаге печать. Хлоп! — и готово. Обжалованию не подлежит. А я и не хотел жаловаться. Мне хотелось быть той самой бумагой, на которую она поставила печать.

Так мы разговаривали еще с полчаса. Она — спиной к двери, я — в отдалении, у прохода. Договорились, что встретимся завтра.

— В котором часу?

— В... Сейчас... Днем не приходите... Может кто-нибудь из Халкася заглянуть... Лучше вечером. Вон, у бассейна, есть стол и стулья.

— Ладно,— сказал я.

С этим и ушел. Браво так. С достоинством прошествовал мимо шибко любознательных девчонок во дворе общежития — не до них. Рухсора заполнила мои мысли, и лишь одна-единственная колючка отравляла существование: она будет учиться в том самом институте, где мне предстоит работать. Как то обстоятельство скажется на наших отношениях? Пойдут сплетни, то да се — на чужой роток не накинешь платок. «Ладно,— подумал я.— Поработаю пару месяцев и уйду в какой-нибудь НИИ. Ради Рухсоры я готов головой колодец рыть. Она- то хоть это понимает?»

Заснул я в тот вечер не скоро.

— Ну как — накопились вопросы? — Рухсора прилежной ученицей расположилась за столиком у бассейна и даже не слышала, как я подошел.

— Очень химии боюсь,— доверительно сказала она, молчаливым кивком ответив на мое приветствие.— Я потому и в медицинский не

пошла. Ой, какой скандал был! — Рухсора с кокетливым ужасом покачала головой. — Как?! Девушка — агроном?! Иди в педагогический!

— Ну и.. ?

— Я сказала, что не хочу быть учительницей,— на моих глазах кокетливо-проказливая девчонка исчезла, в голосе Рухсоры прозвучал металл, и я посмотрел на нее с невольным уважением.

— Да. Гм... Так... Это... Накопились вопросы? — ничего лучшего я не мог из себя выдать.

— Ой, много! — в глазах Рухсоры мелькнула какая-то тень и тут же пропала. Досада на мою сухость?—Вот, например, эта глава: «Окисление железа»...

Давненько я не заглядывал в учебник химии, но память услужливо вернула вспять время, и я вспомнил даже запах той ночи, когда сам сидел и разбирался с главой «Железо. Его окислы и соединения». «Железная» была ночь, что и говорить, а наутро — зачет. Поначалу слегка запинаясь, а потом все увереннее, я объяснил Рухсоре тему и попросил решить задачу. Каверзная такая задачка, на экзаменах ее частенько задают... Где уж Рухсоре решить ее!

— Неправильно, — спокойно констатировал я. — Допустим, кетмень покрылся "ржавчиной, вы что же, водой ее отмывать будете?

— Не-е-ет,— зарделась Рухсора, пряча лицо в ладони.

— А по этому решению выходит, что вы водой окисел растворяете.

— Где?

Мы одновременно нагнулись над тетрадкой, прядь ее волос коснулась моей щеки и... Это был ожог... Сладкий и жгучий. Наверное, Рухсора почувствовала то же самое, потому что несколько минут мы сидели недвижно, не смея пошевелиться, лишь сердца стучали: тук-тук-тук! Я украдкой поглядел по сторонам, но лицо Рухсоры пламенело так жарко, что я ничего не увидел. Увидишь тут!

Мы разобрали еще несколько тем, а потом наш разговор незаметно отошел от «химического» русла. Рухсора непринужденно рассказывала о своем кишлаке, школе, учителях, родителях, я внимательно слушал и лишь одно мне едва заметно резало слух. Рухсора не то чтобы хвасталась, но по ее рассказу выходило, будто она сама или ее родители чуть ли не вершителю судеб земли. С мельчайшими подробностями Рухсора рассказала о том, как директор школы сватал ее за своего сына,

обещая выполнить любое ее пожелание, вплоть до того, что разрешат учиться в городе. Но отец отказал:

— Пусть доченька вначале закончит институт, а потом ее воля.

— Отец с самого начала хотел, чтобы я в институте училась,— сказала Рухсора, задумчиво глядя прямо перед собой.— Ты, говорит, будешь первой среди всех девушек кишлака. Так оно и случится! — твердо заключила Рухсора.

Отец ее начал свою карьеру сельским почтальоном, но, благодаря высоким личным качествам, быстро выдвинулся и стал начальником отделения связи. «Его даже в райцентр приглашали на работу, но отец отказался!» - гордо сказала Рухсора.

Она говорила, а я слушал и никак не мог поверить, что рядом со мной сидит такая красавица и, как цветисто выражались древние, «успокаивает наше сердце приятной беседой». Все было бы прекрасно, но в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя. Сейчас этой ложкой был сторож. Вот, уже в который раз, он проходит мимо и деланно покашливает: «Смотрю я за вами, детки, смотрю. И не успокоюсь, пока вы здесь!»

Пришлось уйти. Каждому ясно, что под звездами о химии не разговаривают.

Вечером следующего дня мы занялись водой. Как я и ожидал, знания Рухсоры по этому вопросу не выходят за рамки школьной программы, а этого на приемных экзаменах в институт маловато. Она, конечно же, знала формулу воды, ее удельный вес, состояния... И только. Пришлось прочитать целую лекцию, заключив ее словами:

— Вода — самое драгоценное вещество на планете. Например, чтобы изготовить килограмм бумаги, требуется сто литров воды. И не какой-нибудь, а питьевой. Запасы же питьевой воды на Земле ограничены...

Видимо, угроза водяного голода так подействовала на Рухсору, что она тут же поспешила сменить тему разговора:

— Мой дядя приехал из Ферганы, вернее, из тех краев, и у него вот такой зуб на шее,— Рухсора сложила два кулака вместе, показывая, какой огромный зуб у ее дяди.— Врач сказал, что в тех местах вода такая...

— Видимо, снеговая вода — ледниковая. В такой воде почти нет йода. Поэтому для жителей высокогорных районов продают в магазинах

йодированную соль. 10 граммов на тонну,— блеснул я познаниями в этом вопросе.

— А у нас сегодня консультация была. Мировой преподаватель вел консультацию. Кандидат наук, доцент, член чего-то. там... О себе много рассказывал.

— Низенький и полный?

— Не-е. Не очень низенький. Средний.

Так. Вот и Исрофил-заде на сцене появился. Он о себе умеет рассказывать...

— А потом он спросил у нас, есть ли вопросы,— спешила поделиться своими новыми впечатлениями Рухсора. Какой-то парень попросил рассказать об использовании водорода. Доцент оглядел нас и спросил: «Ну, кто ответит?» Все молчат, а я решила: «Будь, что будет!» и руку подняла. Доцент кивнул головой, и я рассказала все, что звала про водород. Сказала, что его применяют при производстве аммиака, спирта, бензина, еще используют при очистке нефти... Доцент похвалил за правильный ответ и посоветовал не спешить на экзамене. Потом он открыл толстую тетрадь и прочитал нам, как надо правильно отвечать. Вот! — выдохлась Рухсора, а я представил себе самодовольное лицо доцента и чертыхнулся в душе.

— Вы знаете, когда я документы сдавала, испугалась даже,— доверительно сообщила Рухсора.

— Чего?

— Там один старичок преподаватель с виду, сказал другому: «Что-то многовато в этом году поступающих... А ведь еще не все заявления подали». Я так расстроилась, что чуть было документы назад не забрала.

— Не обращайтесь внимания,— сказал я.— Ваше дело — подготовиться как следует.

— У нас в кишлаке говорят, что на это отделение без знакомств не поступишь,— задумчиво сказала Рухсора.— Один наш парень поступил в прошлом году... В школе очень плохо учился. Он и из института через месяц ушел — бросил. Его отец «поступил», чтобы в армию не забрали. А парень сказал, что пойдет служить, и институт бросил. Отец у него состоятельный, со связями...

— Кто хорошо сдает экзамены, тот обязательно поступает, — отмел я всяческие подозрения от приемной комиссии родного института.— Не, но связям принимают, а по знаниям.

— А как же тот парень,— не унималась Рухсора.— Он в школе даже книг в руки не брал.

— Повезло, значит. Легкий билет доспался.

— На всех экзаменах повезло? — ехидно прищурилась Рухсора.

Что-то мне не нравился этот разговор. А тут еще сторож. Крутится рядом, как ворон, и все смотрит, смотрит. Я предложил Рухсоре пойти, прогуляться по проспекту, но она отказалась... Мы долго и молча сидели рядышком, едва-едва соприкасаясь рукавами, и вечер был пак хорош, что даже сторож, наконец, угомонился. Забрался на свою тахту у ворот и включил транзистор. Нежный девичий голос тосковал о любви, мы с Рухсорой смотрели друг другу в глаза... Но... Не будешь же так сидеть до утра? Пришлось уйти.

4. ЭКЗАМЕНЫ, ЭКЗАМЕНЫ, ЭКЗАМЕНЫ...

Всю свою сознательную жизнь мы сдаем экзамены. На зрелость, человечность, способность отстоять дело, которому служишь... Да мало ли какой экзамен может учинить судьба? И всегда я волнуюсь так, что теряю аппетит. Вот и сегодня. У Рухсоры начинается сессия, а я позавтракать не могу. Не лезет кусок в горло. Пошел в институт. Столпотворение вавилонское да и только. Шум, гам, суета. Как говорят, тьма народа и все разные. Абитуриенты, папы, мамы, братья, знакомые... Вход в институт по специальным пропускам и экзаменационным листам. Ребята знакомые «на дверях» стоят, но мне и в голову не пришло туда лезть. Подумают еще, что хлопотать пришел. За бедного родственника...

Не люблю я в эту пору к институту приближаться. Встречаешь знакового преподавателя, а он лицо отворачивает или с таким холодным видом здоровается, что до вечера настроение портится. Впрочем, я понимаю преподавателей. Попробуй, не отвернись, если на тебя сто человек умоляющими глазами смотрят, а остальные сто нороят за полу пиджака схватить и «словечко шепнуть». Головы за такие штучки отрывать надо.

У меня по поводу экзаменов собственное мнение есть. Не то, чтобы я их боюсь или готовиться лень... Готовиться не лень. Но все дело в том, что большая часть моих знакомых к экзамену готовится по формуле: две недели зубрежки, отбарабанил, как попугай, и все из головы вон.

Спроси у кого-нибудь в общежитии после экзамена: «Что вчера зубрил?» — никто не ответит. Вначале и я свято верил, что зубрежка нужна и полезна: в поле, мол, книгу с собой не возьмешь...

А побывал на практике... Академики с собой «в поле» справочники берут! Ветеринар без двух-трех книг на отгонные пастбища не едет... Значит, не зубрежка, а умение мыслить, умение справочным материалом пользоваться. Если хотите знать мое мнение, я бы за умело составленную шпаргалку «хорошо» ставил. Вон Даври... Она на крохотном листочке ухитрялась десять страниц текста из учебника вместить. Джафар на третьем курсе конвертиками от бритв пользовался. У него на этих конвертиках годовой цикл лекций вместился. На каждый билет — особый конвертик. Точит карандаш, а сам на конвертик косит. Попался, конечно,— полгода без стипендии куковал. Бедная Луджия, так та на коленках формулы писала — потом весь курс хохотал...

А если без шуток, то пришла пора перестраивать систему экзаменов. Пусть пользуются справочниками, конспектами, основное дело преподавателя — определить талант и умение мыслить. Умение мыслить, вот чему надо учить и чего требовать.

Рухсоры все еще не было, и я на несколько минут сбегал в ближайшую чайхану — пиалку чая выпить. Памятная чайхана — пять лет назад, перед вступительными экзаменами, я тут с ребятами спорил:

— Если не сдам экзамены в этот институт—от собственного имени отрекусь! — утверждал я.

— Во, даёт! — кричали ребята.

— Ай, да молодец!

— Хлеб маленькими кусками жует, а слова вон какие большие произносит!

— А если не повезет?

Но я упрямо стоял на своем:

— Вели не поступлю, мое имя не Вафо. Отрекусь от имени, данного отцам!

В своих знаниях я был уверен, а вот насчет везучести были сомнения. Но ведь жалко же имя терять — старался, что было сил. Зато какая гора с плеч свалилась, когда секретарь приемной комиссии, посмотрев на мой экзаменационный лист, сказал:

— Можете первого сентября на занятия приходите...

Рухсору я мог бы узнать среди тысяч и сразу нашел, хотя новое платье с огромными, как у тыквы цветами, модная — с косым пробором, прическа совершенно преобразили ее. Непривычно бледная и молчаливая, она смотрела на меня невидящими глазами и все время шевелила губами, словно урок твердила. Я попытался растормошить ее, рассказывая один случай за другим— в иное время у Рухсоры скулы бы от смеха заболели, а тут... Рухсора молчала, и я прикрыл свой словесный фонтан. Умолк, но кто мне мог запретить смотреть и любоваться?

Я всегда утверждал, что современные темпы жизни времени для созерцания не оставляют. Так оно и случилось.

— Наврузов? — знакомый голос окликнул меня, и я обернулся.

Кто, как не любимый учитель, может заметить ученика в таком содоме? Конечно же, это был Джура-заде, и я торопливо пожал вялую ладошку Рухсоры:

— Успеха! Буду ждать!..

Вы не знакомы с Учителем Джура-заде? Жаль. Вас, говорю, жаль, Есть учителя и... есть Учителя! Джура-заде — Учитель с большой буквы. Мы, студенты, боготворили его. У нас, в институте, преподавательский состав всегда от прочих отличался. Хватает и авторитетов, и светил, так сказать. Но смотришь на такого и думаешь, похожи вы, дорогой наставник, на величественную колонну... Если взять ее и отставить в сторону, то ни один край мира даже не шелохнется, а вот Джура-заде на своих плечах этот мир держит.

По собственному признанию уважаемого профессора, отличников и бездарей он распознает сразу, а вот «среднячков» долго, не запоминает. Три последних года профессор руководит моей, мягко говоря, незрелой научной работой, а началось все с небольшого доклада на заседании НСО. Сейчас-то я понимаю, что детский лепет это был, а не доклад, а тогда гордился. Ух, как гордился и обиделся смертельно, что никто не обратил внимания на такой гениальный доклад. Ругать не ругали, но и похвалить забыли. Ладно, думаю, нужна мне эта наука. Я и агрономом проживу. Только через неделю вызывает меня к себе уважаемый ваш Джура-заде, достает из кармана известную всему институту записную книжицу и начинает излагать свои мысли по до-

кладу. Разгромил, конечно, в пух и прах, но подчеркнул, что тема важная, и я должен, обязан продолжать исследования. С «божьей коровкой» очень перспективно может получиться...

Так, с благословения профессора, я стал заниматься наукой, а тема «Интегрированные методы защиты растений» стала темой моей дипломной работы. И не только дипломной... Что тут говорить, умеет старик из своих любимцев жилы вытягивать. Мне-то что — я парень деревенский, с детства привычный на любой работе спину до седьмого пота гнуть, а вот другим каково? Не дай вам бог в любимцах у Джуразаде числиться!

Ведь видел же, черт старый, с кем я стою и разговариваю. Джуразаде все видит, когда хочет, и никакими силами его не заставишь видеть то, чего он не хочет замечать, или делать то, что не по душе. Фанатик! Впрочем, я его люблю. Я и сам фанатик, когда дело до главного доходит. А вот выдержки мне не хватает. Видел ли я, чтобы профессор горячился? Нет. Всегда выдержан, спокоен, но... Какой огонь под его внешним спокойствием! Ах, какой огонь!

Хотел бы я знать, для чего он меня из толпы извлек? Чем это ему Рухсора не приглянулась? Но ведь не смажет. Наверняка о работе заговорит. Не новая, в общем-то, мысль об интегрированном методе защиты растений. Но все дело в том, как его использовать, какие группы насекомых применять в борьбе с вредителями. В своей дипломной работе я выделил две такие перспективные группы, теперь надо испытать на опытном поле. А потом — внедрять в практику. Тут вот что интересно: еще год назад я заметил, что на целинных и вновь осваиваемых землях полезных насекомых больше, чем на старых полях...

Джуразаде за руку вывел меня из толпы и доброжелательно поглядел поверх очков:

— Приказ о выходе на работу уже есть?

— Нет, муаллим² ... Сказали, когда вернусь из отпуска.

— Так, так,— покивал головой профессор.— Действительно. Отдыхайте, отдыхайте...

— Вы что-то хотели мне сказать?

— Да-да, конечно... А жарко сегодня, — профессор рассеянно поглядел на толпу абитуриентов и повлек меня прочь— Я, знаете, на днях подумал о вашей работе и вновь подивился...

² Муаллим — учитель.

Джура-заде через плечо посмотрел на здание института — цветастую толпу будущих студентов и шумных болельщиков уже скрыла густая зелень плакучих ив — и вдруг резко повернулся ко мне:

— Почему же все-таки на старых полях вредных насекомых, то есть — на наш взгляд — вредных, во много раз больше, чем полезных?

— Инсектициды... — пожал плечами я.

— Вздор! Вздор! — быстро сказал профессор. — Почему же вредные уцелели? Думать надо, думать! Не болтаться во время отпуска около института, а думать! И почему вы в городе? Некуда поехать — езжайте в Яван. Да!

Я молча смотрел на своего учителя. Ну что в нем привлекательного? Роста среднего, голова большая, а лицо узкое, волосы на макушке торчат реденьким пушком... Помню, как он впервые пришел к нам в аудиторию и сразу же поразил вопросами. Целых два часа расспрашивал нас о вещах, не имеющих никакого отношения к программе. У одной из девушек, помимо имени, фамилии и отчества, он спросил: «Как вы думаете, какого цвета у вас глаза?», еще у одной из студенток поинтересовался, знает ли она историю своего имени, рода своих предков, у Суфи долго и дотошно выпытывал, какие растения он знает, какие звери и птицы водятся в его краях?

Я до сих пор не могу понять системы его понятий о людях. Но мыслит он оригинально — свежо, остро, поразительно логично. Умение мыслить — вот что мне нравилось в нем. Высокая культура мышления.

За таким вот «содержательным» разговором мы до парка дошли. Здесь, в чайхане, профессор обожает отдыхать. Хотя, какой там отдых! Я еще ни разу не видел, чтобы он в эту чайхану один ходил — всегда кого-нибудь под руку ведет. Вот как меня сегодня.

Популярный человек — профессор Джура-заде. Чайханщик его у дверей встречает, кланяется, на лучшее место около водоема ведет. Лучшие друзья, да и только. Месяц назад эти «лучшие друзья» два часа до хрипоты спорили. И о чем бы вы думали? О повадках кекликов!

Во время чаепития учитель вновь вернулся к теме моей работы:

— Химические методы борьбы уже не оправдывают себя. Иной раз от них вреда больше, чем пользы. О последствиях нужно думать, о последствиях. Тем более, в наших условиях!

Вот упорный старик! В отпуске же я, в от-пуге-ке! Но он прав — узкие межгорные долины нельзя заливать инсектицидами, одни растения

сохраним, а все остальные — в природе все взаимосвязано — уничтожим. Имеем уже горький опыт. Тут думать надо. И почему, все-таки, вредных больше?

После чаепития Джура-заде распрощался со мной и пошел было к выходу: я смотрел ему вслед и думал о том, сколько экзаменов пришлось выдержать моему любимому учителю, чтобы стать таким, каков он есть? Профессор отошел на несколько шагов, остановился и, повернувшись ко мне, тихонько попросил:

— Вы... Не ходите больше в институт во время приемных экзаменов. Не надо. Эта девушка наверняка поступит и без вашего покровительства, — повернулся и пошел себе по дорожке, а я остался сидеть с раскрытым ртом.

А что мне еще делать было?

5. АРОМАТ ЦВЕТКА И ДЫМ СЕНА

После обеда я отправился в «четверку» — надо же узнать, как там Рухсора себя чувствует? Мы мельком виделись в день первого экзамена — Рухсора шла с подружкой и задержалась лишь на мгновение:

— Написала! Темы легкие были. Я выбрала самую легкую: «Образ женщины в «Шахнаме». Слова Чернышевского эпитафией поставила. Ладно, потом!

И убежала. Сегодня им должны были сообщить оценки, и я с самого утра нервничал. Рухсора что-то делала перед открытым окном и, увидев меня, сразу же показала два пальца. Двойка? Сердце у меня упало, Рухсора не выдержала, засмеялась, и я мысленно пообещал: «Ох, и получишь ты у меня!»

Дни стояли безветренные, жаркие, и пот лил с меня градом. Рухсора встретила меня на пороге, и, полушутя, полусерьезно, пару раз взмахнула над моей головой мокрым полотенцем. Потом ловко разрешила дыню и уложила ароматные ломтики на тарелку:

— Угощайтесь!

— Ну, рассказывайте! — нетерпеливо попросил я, вгрызаясь в сочную дольку.

— Оказывается, у нас здесь все равны. И тот, кто воду носит, и тот, кто кувшины бьет! — Рухсора недовольно махнула рукой.

— Как так? — поперхнулся я.

— Э-э! У меня одна девчонка с черновика списала, а сами знаете, какие черновики бывают. А оценки одинаковые. Обeim «хорошо» поставили.

— Может быть, она умело списала, — улыбнулся я. — От себя что-нибудь добавила, стиль выправила. Преподаватель во время проверки не знает, чье сочинение проверяет. Для этой цели разработана специальная система закрытых индексов...

— Ха! — презрительно усмехнулась Рухсора. — Чхать они хотели на эту систему. Я своими глазами видела, как на обороте одного из сочинений точку поставили. Отметили, значит, кому и что ставить!

Не в первый раз Рухсора заводит подобные разговоры, и я всякий раз огорчаюсь. Авторитет института — это авторитет института. Как можно уважать свое учебное заведение, если будешь вести подобные разговоры? Кроме того, я не хочу, чтобы Рухсора с первых шагов своей самостоятельной жизни потеряла веру в справедливость. Эта вера — штука хрупкая, сломать легко, а вырастить почти невозможно.

— Сегодня вторая группа сдавала устный, и десять человек получили двойки, — обеспокоенно сообщила Рухсора. — Одна девушка тоже...

— Это естественно — на то и экзамены.

— У этой девушки опросили, каких она знает змей? А у парня: почему зайцу и медведю в гору бежать легче?

— Задние ноги длиннее, чем передние.

— А она не знала. И я не знаю диких зверей!

— Пойдемте в зоопарк, там я вам все покажу и расскажу, а потом еще и домой провожу. Могу даже билетик за свой счет взять.

— Ладно! — я даже удивился, до того легко Рухсора на эту прогулку согласилась. — Только не одна, а с подругой.

— Жара уже спала, самое время идти, — против подруги я не возражал.

— Пойду, посмотрю, дома ли она?

Рухсора ушла посмотреть, дома ли подруга, а я огляделся. Нет, верно, говорят, что на земле разумные существа делятся не на расы, а на два биологических вида -- мужчин и женщин. Я в своей комнате прожил

пять лет, а она, как была, так и осталась комнатой в общежитии. Пустоватой, неуютной, безликой. Рухсора жила здесь немногим более недели, а уже было видно, что это Дом. Светлый, чистый, уютный. И сразу же ощущалось, что это — девичья комната. По особой свежести, что ли? Не знаю. И еще здорово ощущалось, что живет здесь девушка из Халкаса. И не только по вышивке на полотенцах... Какой-то особо пуританский дух сквозил в этой чистоте...

— Комната открыта, а её нет,— рассеянно сказала Рухсора и остановилась на пороге. Она явно колебалась и, видимо, никак не могла решить: что же ей делать?

— Ничего страшного, пойдет в следующий раз,— наивно утешил я её. Трудно, что ли, догадаться, для чего Рухсоре понадобилась подружка?

— Да-а-а, пойдет,— улыбнулась Рухсора и тут же нахмурилась.— Не дай бог, кто-нибудь увидит, что мы с вами... гуляем... Отец шкуру спустит и соломой набьёт!

— Где он только в городе солому найдет?! — озабоченно сказал я, и Рухсора расхохоталась.

— Вам-то шуточки, а если увидит кто...

— А кто сказал, что нам обязательно под руку друг с другом идти? Можно и на расстоянии...

Рухсора задумалась. «И хочется, и колется, и мама не велит»,— весело подумал я и решился на отчаянное: взял её за руку. О, как покраснела Рухсора, о, как бешено застучало моё сердце! Вся моя смелость ушла на этот невинный жест и, когда Рухсора с укором взглянула на меня, я тут же отпустил её руку... Рухсора отвернулась, и косы её суматошно метнулись по спине. Несколько минут мы стояли молча, но, казалось, что я всё ещё держу её за руку и...

— Пойдём, а то поздновато будет,— хрипло сказал я, волнение жарко и сухо сжимало мне горло.

— Пойду, но с условием: по разным тротуарам,— весёлые чертёнята плясали в глубине её глаз. Отчаянно-весёлые чертёнята. И кокетливые.

— Ладно. Тысячу раз ладно! — рассмеялся я.

— И не вздумайте обижаться,— предупредила Рухсора.— У нас, в Халкасае, обычай такой. А то скажут, что не успела в город приехать, уже гуляет с каким-то чужим парнем.

— А со «своим парнем» можно? — съехидничал я. «Чужой парень» резанул мне слух.

— Э-э-э! Посмотрите на этого человека! В наших местах даже такие разговоры — грех. Большой грех! Хотя... — Рухсора раздумчиво наклонила голову, — некоторые встречаются тайно... Поговорить.

— Слава аллаху! — вздохнул я с деланным облегчением. — Значит, тайно нам можно встречаться? Обычай ваши позволяют?

— О боже! — краска бросилась в лицо Рухсоры, и она прижала ладони к пылающим щёкам. — Я же не это хотела сказать!

— А что у вас в кишлаке делают, если без девушки жить не можешь?

— Если девушка не возражает, посылают сватов, — улыбнулась Рухсора.

— Понял. Я так и сделаю, — сказал и вышел. Пусть переодевается и догоняет.

Я ждал её далеко за воротами и страшно удивился, когда она вышла ко мне во все там же простеньком, домашнем платье.

— Что случилось? — я даже растерялся от неожиданности.

— Не пойду я, — убито сказала Рухсора. — Извините... Вы уж один...

— Что значит — один? — рассердился я. Рухсора подняла на меня свои умоляющие глаза и... Жалость и нежность мигом смыли мою обиду, и я с трудам удержался, чтобы не погладить по голове эту застенчивую девчонку. — Вы уже почти студентка. Городской житель... а столько страха... Я же вас не в джунгли веду. Чего бояться? Самой, наверное, хочется?..

— Да боюсь же, — жалобно сказала Рухсора и отвернулась.

— Идите, переодевайтесь, — сказал я сурово. — Как же вы будете в институте учиться... такая... робкая? Идите!

— Ладно. Но если что случится, — шутливо пригрозила она мне, — вам отвечать!

— Отвечу, отвечу! — сварливо пробормотал я ей в спину. — Случаться только нечему...

По улице мы шагали на приличном расстоянии друг от друга. И в троллейбус садились с разных площадок. Как чужие. Два парня сразу же привязались к ней, пытаюсь разговаривать. Рухсора — вот молодец! — с независимым видом отвернулась от парней и на остановках коротко

взглядывала на меня: «Выходим?» Я отрицательно качал головой. Вышли мы у колхозного рынка и по длинному спуску побрели вниз, к зоопарку.

Все еще на расстоянии. Я впереди, а она — сзади. Постояли на мосту, посмотрели, как сплетают свои струи Душанбинка и Лучоб, переглянулись, засмеялись и тем же порядком отправились дальше.

В зоопарке было малоллюдно — будний день. И те, в основном, приезжие... Не балуют душанбинцы свой зоопарк особым вниманием. Предпочитают «В мире животных» по телевизору смотреть. И детишки... На станцию юных техников — они, пожалуйста, а вот в зоопарк или кружок юннатов... Потому и всходы овоа от пшеницы не отличат, а кроме воробья да голубя других птиц не знают.

А я люблю наш зоопарк. Хоть и маленький, но тенистый, уютный. Вот павлин распустил свой радужный хвост и закричал таким неприятным голосом, что Рухсора даже оглянулась. Сказочный мир! Я с детства люблю зверей, и зоопарк мне никогда не наскучит. Брожу от клетки к клетке и словно встречаю давних друзей. Из сказок, книжек, встреч в горах. Ведь первого в своей жизни медведя я повстречал там, на тропе...

— Смотрите, Рухсора... Это медведица. Какой малыш забавный!

— Это и есть белый медведь? — удивленно взметнула брови Рухсора. — Так он и не белый вовсе!

— Конечно, не белый. Наш, местный. Хы-р-р-рс! — рыкнул я, подражая медведю. «Хырс» — по-таджикски — медведь.

— А на человека он нападает?

— Очень и очень редко. Чаще всего раненый... Хотя... Встречаются и агрессивные. Канадский гризли, например. Тот вообще гигант — до шестисот килограммов весом. Зимой они впадают в спячку...

— И где же спят? — заинтересовалась Рухсора.

— В пещерах, глубоких ямах под корнями упавших деревьев. Готовят себе постель из сухих веток и укладываются на всю зиму. Мне один чабан рассказывал, что собственными глазами видел, как медведь в свою берлогу хворост таскал...

Рухсора слушала меня, широко раскрыв глаза. Она, как и многие её сверстницы, и сверстники, льва и тигра хоть по картинке знают, а расспроси, какие животные в окрестных горах живут? Откуда им, бедненьким, знать, как поздней осенью гоняет медведица своего го-

довашого детеныша-пестуна по зарослям колючек, чтобы вычесал он свою шубку, залег в берлогу без свалывшихся комков шерсти, без грязи и налипших косточек алычи? Слышали бы они, как жалобно хнычет пестун и сердито ворчит на малыша опытная медведица!

Стайка скворцов ловко воровала овес в загоне у антилоп, и я подумал, что по ловкости скворец намного превосходит известного пройдоху — воробья.

— Что это за птицы, знаете? — спросил я Рухсору.

— У нас их частушками зовут, — чуть помедлив, ответила она.

— Общепринятое название — скворец. А пастушкам «и в ваших местах называют другой его подвид — майну.

Мы присели отдохнуть на скамейку около небольшого искусственного озера, и Рухсора хохотала от души, наблюдая за перебранкой двух молодых гусаков. Мальчишки бросали в воду крошки булки, гусаки наперебой бросались к особенно лакомому кусочку, вытягивая шеи, шипели друг на друга, а в это время кусок подбирал шустрый крякаш-селезень, и все повторялось вновь.

В глазах Рухсоры влажно и выпукло переливалось небо, лебеди, мальчишки, зелень деревьев, я откровенно любовался девушкой и... Я ведь уже говорил, что я — парень деревенский. Неотесанный. И мысли у меня такие же... Неотесанные. Сейчас в моих мыслях колом засело одно: есть ли у Рухсоры жених? Ведет она себя так, будто никого у неё нет. А там поди, знай, что на уме у этих... халкасайских... Может быть, она давным-давно просватана?

Лутфулло не постеснялся бы — спросил прямо, а я не могу. Не принято так в нашем кишлаке. А как принято? Не знаю. Твердо знаю одно: нравится она мне! Значит, я её... Люблю? А что такое любовь? У какого-то академика я вычитал железные, как гвоздодер, слова о любви: «Любовь — это экстремальный случай уважения и понимания». Вот так. Уважения и понимания. А для того, чтобы понимать человека, надо его знать. Знаю ли я Рухсору? Нет... Но ведь она мне нравится и, что бы я ни узнал про нее, она не перестанет мне нравиться! Значит... люблю? Ничего это не значит. И не дай бог, Рухсора о моих мыслях догадается. А зачем ей догадываться? Может быть, ей никогда и в голову не придут подобные мысли...

Да. Это был чудесный вечер. Первый наш вечер вместе. Мы поужинали в здешнем буфете самбусой и фруктовым соком, побродили

еще немножко по аллеям среди вольеров и лишь в сумерках покинули гостеприимный зоопарк. До общежития шли пешком. На перекрестках я брал Рухсору за руку, она краснела, но руки не отбирала, только замолкала ненадолго.

Но даже это молчание не разъединяло нас. Мы и пугались нечаянной близости, и жаждали её, и завидовали городским парням и девочкам, беспечно обнимавшимся прямо под фонарями...

А может, я все это выдумал и не было никакой близости?

Рухсора шагнула в железный провал ворот и исчезла. Милые вы мои ворота, окна, стены! В ушах еще звенел колокольчик: «До свиданья... Спасибо!»—и я готов был обнять и ворота, и окна, и стены... В своих ладонях я хранил тепло ее ладоней... Я посмотрел на свои руки. А глаза! Они, как два скворца, свили гнездо в моем сердце, и каким божественным было это гнездо!

Я шалел от собственных мыслей, полета мечты и колдовской тишины летней ночи. «Они встретились на исходе лета...» — напевал я мысленно.

Все дальнейшее осталось в памяти рваными кадрами нелепотуманной киноленты. Кадры мелькают мгновенно, останавливаются и продолжаются целые века — изломанно, смято, перевернуто...

Косматый человек, вернее, его качающийся силуэт. Пьяный?

Резко — косо и быстро набегающий свет фар...

Крик? Взвизг? Стон?

Удар, отбрасывающий меня в тишину и тьму...

Сон...

Я бреду к тротуару, ах, как медленно я бреду, бреду, бреду...

Зачем они кружатся? Зачем? Зачем? Погасите фонари!..

Скамейка, белесые пятна чужих лиц, милицейская фуражка...

Женский крик прорезал тьму, боль, белесые пятна лиц:

— Держите же его! Держите!.. Держите меня, держите... жите, жите...

Жить!

6. О ДЛИНЕ НОЧИ СПРОСИ У БОЛЬНОГО

...Окончательно пришел в себя уже в машине «скорой помощи». Я лежал на носилках, укрепленных довольно высоко — на уровне небольшого окошка, и свет уличных фонарей быстро и косо скользил вначале по ногам, потом по груди, неслышно касался лица и пропадал за головой. «В больницу везут, — подумал, я вяло. — Жив...» Я хорошо ощущал бинты на голове, туго примотанную к груди правую руку, а тела почему-то не чувствовал. Осторожно шевельнул ногами, спиной, попытался приподняться, но девушка в белой косынке — медсестра — мягко положила мне на плечо ладонь, и губы у неё шевельнулись:

— Лежите, лежите, вам нельзя вставать!

Голос медсестры, такой же мягкий и теплый, как ее ладонь, с трудом пробился ко мне сквозь немолчный звон в ушах, я скорее угадал слова, чем услышал их, но понемучу-то сразу же успокоился и словно бы утонул в мягком покачивании автомобиля, звоне и слабости.

Это странное ощущение безвольного покоя, пронизанного легким головокружением и настырным звоном в ушах, не оставляло меня все время, пока какие-то люди в белых халатах распорядились, даже не мной, а моим телом, перекладывая с носилок на коляску, потом на сверкающий металлический стол, опять на коляску... Они тихо переговаривались, но я их не слышал, все глубже и глубже погружаясь в блаженное, как невесомость, беспмятство сна...

Проснулся я уже утром следующего дня, в больничной палате, поразившей меня какой-то обнаженно белой пустотой. Безразлично-белой пустотой... По всему телу бродила боль, но не она беспокоила меня, а вот эта безразлично-белая пустота, поселившаяся вдруг во мне. Беспокойство переросло в злость, и до сих пор первые дни в больнице помнятся мне, как дни, наполненные безразлично-белой пустотой и раздражением. Раздражало все: бесконечная болтовня соседей по палате, холодные руки хирурга в перевязочной, участливые расспросы медсестры Инны — мне казалось, что она приходит в палату лишь для того, чтобы поболтать с моими соседями.

Я натягивал на голову одеяло и часами лежал не шевелясь, притворяясь, что сплю. Иногда я и впрямь засыпал, быстрые сны перевивались с тягучей дремотой, наполненной воспоминаниями, а все вместе навсегда осталось во мне пестрым клубком ощущений и мыслей, повисших в безразлично-белой пустоте.

Лет шесть или семь назад, когда я учился в девятом классе, помню, что был уже конец зимы — промозглой и сырой, мы с двоюродным братом отправились в горы за хворостом. Ишаки остались внизу, на пологой тропе, спускавшейся по склону, а мы долго карабкались вверх, собирая арчовые сучья, подгнившие пеньки и коряги. Солнце уже перевалило за полдень, когда я сложил хворост в кучу, перетянул арканом и, с трудом взвалив на плечи, начал спускаться к тропе. Кто бывал в горах, знает, как это не просто — спускаться вниз, по крутому склону, без тропы, с тяжёлым грузом на спине.

К полудню сильно потеплело, промерзшая земля оттаяла, ноги скользили по глине, и я даже не шел, а ехал, тормозя пятками, от одного куста дикого миндаля до другого, то и дело хватаясь свободной рукой за камни и ветви кустарника. Измотавшись вконец — до тропы оставалось метров сто пятьдесят-двести, я остановился передохнуть. Сбросил на крохотную площадочку тяжелую вязанку и присел на камень. Ни с чем не сравнить этот блаженный миг! В горах всегда трудно. Задыхаясь, бредешь вверх и видишь только склон горы у себя под ногами, спускаешься вниз — все тот же склон, только в другом ракурсе, а ноги дрожат от напряжения... И лишь в короткие минуты отдыха видишь горы — видишь простор, от которого в восторге замирает сердце. Сидеть бы так бесконечно долго, слушать, как гортанно перекликаются в вышине беркуты, смотреть на долину, голубые цепи хребтов, белые нити ручьев, рыжие отвесы скал... Но уже ложились на снег синеватые тени и ощутимо мерзла вспотевшая спина. «Горячий пот на спине — к добру, холодный — к болезни!» — вспомнил я слова деда и, перехватив двумя руками аркан, одним рывком попытался встать на ноги.

Вязанка, видать, слегка примёрзла, аркан тугой петлёй перехватил плечи, я не удержался на ногах, и все дальнейшее помнится мне, как... Колесо арбы! Я катился вниз, как большое, неуклюжее колесо арбы, и ничто уже не могло остановить моего движения вниз. Закон гор суров — сорвался, пытайся остановиться сразу же: лечь на живот, уцепиться за камень, корень, ветку — потом уже не остановишься, летишь, набирая скорость, сталкивая камни, снег — летишь вместе с лавиной.

Меня спас старый миндаль. Корявый, жилистый, седой от старости, он врос могучими корнями в камень и только вместе с этим камнем его можно было вырвать из склона горы.

Старое дерево спасло меня от верной гибели, а белобородый Насрулло-костоправ — от хромоты. Он долго ощупывал меня быстрыми и сухими, как тонкие коричневые палочки, пальцами, прислушиваясь к чему-то неуловимо далёкому, потом сказал, что у меня перелом, и мне придётся полежать. Усто наложил на ногу две дощечки, прибинтовал красной тряпичей, дал отцу пакетик с мумие и велел давать каждый день по крошке... Прошли годы, нога зажила, как и не было ничего, но до сих пор я должник перед тем старым миндальным деревом и белобородым усто Насрулло.

В палате нас четверо. Справа от меня две койки: на одной из них лежит бывший учитель, а ныне пенсионер — Джавад-заде, другую занимает мужчина средних лет по фамилии Окилов, на левой койке спит молодой парень со сломанной рукой — Хусейн. Хусейн появляется в палате только поздно вечером, все остальное время он проводит неизвестно где, и медсестры вечно разыскивают его. Вот и сейчас я слышу, как где-то в коридоре Инна опрашивает, не видел ли кто Хусейна.

— Небось, опять к девушкам на второй этаж отправился,— ворчит Джавад-заде, разворачивая газету.

— Этот парень, не вылечив руки, поломаёт себе ноги,— охотно подхватывает Окилов и мелко хихикает. Его хихиканье — недоброе и ехидное, действует на меня хуже скрежета ножа по стеклу.

— Эдак немудрено и шею сломать,— шелестит газетой учитель, и слова его тоже не нравятся мне.

Джавад-заде, хоть и получил пенсию, как он говорит, «по старости», стариком отнюдь не выглядит. Высокий, могучий, он каждое утро скоблит бритвой тугие щеки, оставляя лишь усы — такие же могучие, как и он сам. Через два дня на третий он бреет и голову, привычно ловко орудуя безопасной бритвой. За дни болезни учитель почему-то очень близко сошелся с Окиловым, как говорят у нас, «котел и чашка у них стали общими», хотя мне так и непонятно, что же их связывает. Утром и вечером они в столовую не ходят, едят, что приносят из дому.

—Ну-ка, ну-ка, что у нас там сегодня? — потирал руки Окилов.— Та-а-ак: суп гороховый, гуляш, самбуса, виноград...

— Плоховаты здесь завтрак и ужин, плоховаты, — подтверждал Джавад-заде.— Без домашнего не проживёшь.

Они усаживались на койки, ставили два стула и расстилали дастархан, неторопливо обсуждая достоинства того или иного блюда, а ко мне с подносом приходила Инна, повязывала полотенце и начинала кормить... Как маленького — с ложечки. Много есть я стеснялся, мне все время казалось, что Инне неприятно кормить меня, и съев две-три ложки, я отказывался. Но Инна не отступалась, она смотрела на меня умоляющими глазами и уговаривала:

— Еще ложечку, ну, пожалуйста, еще...

Попробуй, откажись, если на тебя смотрят такими глазами!

Инна — симпатичная молодая девушка, очень нравилась больным, ее хвалили на все лады, а я думал, что взгляд и брови у нее, как у Рухсору. Во всяком случае, мне казалось так.

О том, что я в больнице, никто из близких не знал. Если бы узнала Рухсору, может быть, и пришла. Сообщить ей? Написать письмо, опустить в почтовый ящик, завтра или послезавтра она получит... И что скажет? Получится так, будто я умоляю ее прийти. В своих размышлениях я забывал, что ни написать письмо, ни тем более опустить в почтовый ящик я не могу, а просить кого-либо никогда в жизни не посмею. Вот если она узнает от кого-нибудь другого! Но «другого» не было — однокурсники разъехались, домашним ни в коем случае писать нельзя — к чему волновать по пустякам?— да и кто из моих домашних может сообщить Рухсоре?! А все-таки: я исчез, что может подумать по этому поводу Рухсору? Нехорошо получается, надо бы сообщить... Жаль, что каникулы — общежитие на ремонте, хоть по телефону бы позвонил, — я вновь забывал о своей руке и неподвижности.

Пока я размышлял подобным образом, глотая остывшую кашу, Джавад-заде ухитрился обидеть Инну. Она, как всегда, уговаривала:

— Ещё ложечку, ну, пожалуйста, ещё...

— Не отказывайся,— степенно облизывая ложку, сказал Окилов.— Глотай, пока дают.

— Я в твои годы,— проворчал учитель,— за один присест плов на кило риса съедал, да сверху ещё и дыню «Джураканди» укладывал.

— Вы, муаллим, наверное, в год плова родились,— улыбнулась Инна.— Какая уж там... диета.

Слова девушки почему-то задели Джавад-заде. Он грозно встопорщил усы и нахмурился:

— Вы бы, красавиц, до моих лет сначала дожили, а уж потом... И не дай вам бог, такие дни, как я пережил, видеть!

— Ой! — смутилась Инна. — Не обижайтесь, я же пошутила!

Она посмотрела на меня, спрашивая взглядом: «Ну что плохого было в моих словах?» Я лишь неловко улыбнулся: Инна была права, но спорить с пожилым человеком...

— Я и не обижаюсь! — все еще сердился Джавад-заде. — Но молоденькой девушке не пристало попусту болтать. Два голода я пережил. Не дороговизна страшна — голод! И на деньги хлеба не купишь! А потом война... До сих пор пуля в плече сидит!

Я слушал слова старика и думал о том, что минувшая война оставила у нас такие следы, что и через сто лет не сотрутся. А с другой стороны... Во время войны люди от голода страдали, сейчас от сытости болеют. На первом курсе мы — трое студентов, снимали квартиру у одного старика. Стоило кому-нибудь из нас прихворнуть, как старик подходил и говорил: «Трубу нужно прочистить, трубу! Труба загрязнилась!» Чем бы мы ни болели, старик твердил: «Трубу прочисти!» Под «трубой» он имел в виду желудок и кишечник. Целые сутки больному не давали ни кусочка лепешки, и лишь на следующие сутки старик начинал поить горячими отварами трав. Поправлялись.

Сегодня Инна, тронув бинты на голове, сказала:

— Завтра на перевязку. Не волнуйтесь, это не больно, — соболезнующе оглядела меня и не удержалась: — Говорят, что вы пьяного из-под машины вытащили? Он ваш знакомый?

— Нет. Так... Прохожий.

— А почему вы не на каникулах?

— Я уже окончил институт. Теперь на работу.

— Да-а? — нарочито удивилась она. — Как интересно!

В глазах у девушки действительно вспыхнул огонек живого интереса, но она почему-то постаралась скрыть его и почти равнодушно спросила:

— И куда же вас распределили?

— Куда? — переспросил я в некоторой растерянности. — Здесь, в городе, оставили.

— Я тоже поступлю в институт, — взмахнула она густыми ресницами. — Еще год отработаю и поступлю.

— Вам легко будет учиться,— вежливо сказал я.— С такой практикой!

Вечером Джавад-заде и Окилов лакомились супом с репой. Терпко-кисловатый запах репы пропитал, кажется, всю комнату. Они и мне предложили, но я отказался. Натянул на голову одеяло и затих. Бедно мы жили в далекую пору моего раннего детства. Да и кто жил лучше в те послевоенные годы? Хлеба не хватало. Исхитрялись кто как мог. Скосив овес, на этом же поле сеяли репу. Всю зиму в золе нашего очага пекли репу. Хворали мы часто, теплой одежды не было, и нас, малышей, часто и до хрипа бил кашель. От кашля мать лечила нас все той же репой, запеченной в золе. Детство мое пропахло репой. Бедность и болезнь пахли репой. Меня трясло от ее запаха.

Пришла Инна, внимательно посмотрела мне в глаза и выскочила в коридор. Вернулась она со шприцем в руках...

— Что, опять никто не пришел навестить? — спросила она, растирая ваткой со спиртом место укола.— Или нет никого?

— Родные далеко. Друзья разъехались...

Мне до смерти хотелось сказать, что есть один человек, который... Но он не знает о моей болезни. Да и придет ли? Сколько мы знакомы? Две недели...

Инна хотела спросить еще что-то, но заметив пристальные взгляды моих соседей, вдруг покраснела и, прикусив губу, быстро вышла из палаты. Мы трое смотрели ей вслед.

— Весна ее жизни,— почему-то вздохнул Джавад-заде. — Красивая! В пору моей молодости таких красавиц мало было,— старый учитель вновь вздохнул, и могучие усы его печально поникли.— А сейчас по улице идешь и сердце замирает — одна другой красивее. Значит, жизнь у нас красивая стала.

— Э-э, дорогой учитель, красота женщины — фарфоровая тарелка,— витиевато начал Окилов.— Кому нужна красота пустой фарфоровой тарелки? Чтобы смотреть? Эти, — Окилов неожиданно зло кивнул в сторону коридора,— хороши, чтобы по бульвару гулять, в кино ходить. А жизнь — это не кино. Около котла с маникюром не походишь.

— Инна не из таких,— сурово возразил Джавад-заде.— Те, кто рук холодной водой ни разу в жизни не мыли, другие. Не меряйте всех одной меркой. Мало она за нами ухаживает?

— Э-э-э! Мне ли их не знать?! — постучал по груди кулаком Окилов, — Что, первый год на свете живу?

Окилов долго и злобно рассказывал, как сын его родственника, не послушав родителей, привел в дом «выше головы ученую» девушку, какой кошмар начался в доме, и с каким позором пришлось эту молодую жену изгнать из дома.

Джавад-заде, понурившись, сидел на стуле и нехотя доил свой грустный ус. Возражать Окилову ему, видимо, не хотелось, и он лишь слабо отмахивался от соседа широкой, как доска, ладонью. Я тоже молчал. Вот был бы на моем месте Лутфулло! Он бы, даже умирая, не смолчал. Ему хоть кол на голове теши—спуску никому не даст. Такой характер. Несправедливости не потерпит. В позапрошлом году сидим в аэропорту — самолет ожидаем. Вдруг двое мужчин — оба под изрядным хмельком, спускаются из ресторана. Узнали, что их самолет улетел, и ну дежурного смены костерить. Так, мол, и так, по радио не объявляете, а люди ждут! Пьяные — что им докажешь. Все молчат, не вмешиваются, а наш правдолюбец Лутфулло поднимается и говорит тем пьяным мужчинам, что он сидел здесь и собственными ушами слышал объявление о посадке на этот рейс. Мужчины мигом отцепились от дежурного и Лутфулло за грудки: «Ты кто такой? Тебе что — больше всех надо?!» Быть бы Лутфулло битым, если бы мы не подросли. И вы думаете, что он на этом успокоился? Ничего подобного. В милицию обратился... Короче говоря, наш самолет без нас улетел...

Я лежал на спине, слушал, как бубнит Окилов, и думал. Через неделю мне разрешат вставать. Понемножку, разумеется. Хирург до сих пор на перевязке хмурится и головой качает: «Повезло вам, молодой человек!» Хорошо, что Рухсора не видела, как меня стукнуло — вот бы перепугалась, бедняжка! Чем она сейчас занята? Наверное, напрасно я столько о ней думаю: кто знает, как она ко мне относится? Бывают же между людьми просто добрые отношения. Это же ничего не значит. Хотя... Может быть, я занял какой-то уголок ее сердца? Написать письмо? На письмо надежда слабая. Я хорошо знал, что за время каникул в канцелярии общежития скапливается целая гора писем, и, если Рухсора ниоткуда не ждет письма, зачем бы ей рыться в этой гуде? Дать телеграмму? Разве я смогу вместить все свои слова в телеграмму? Что делать? Как она сдала экзамены? Лишь бы прошла по конкурсу! А вдруг не прошла? Вернется в свой Халкасай? Она должна, обязана пройти! Она

обязательно прошла по конкурсу, и мы вместе завершим мою работу по биологической защите растений. Божья коровка станет нашим общим другом. И не только она. Наверняка существуют и другие полезные насекомые. На орошаемых землях их осталось совсем мало, но это не значит, что их нет. Я представил себе клеверные и хлопковые поля, на которые не попало ни одной капли инсектицида— поля, а вокруг сплошные пасеки! Десятки, сотни тонн меда получают, помимо всего прочего, люди с этих чистых, как горные луга, полей.

Инна заглянула в дверь нашей палаты. Собралась домой? В туфельках на высоком каблучке, она стала еще стройнее.

— Как дела?— девушка добро улыбнулась мне, и я смутился. То есть я, конечно же, обрадовался и ее доброй улыбке, и заботе, скрытой в словах, и... В душе я проклинал соседей: делать им больше нечего, что ли? Смотрят во все глаза!

— Спасибо, хорошо, — ответил я и, стараясь преодолеть смущение, спросил:

— Инна, а как вас по-настоящему зовут?

— Инобатхон ее зовут! — по привычке хихикнул Окилов.

Меня даже передернуло от его мерзкого хихиканья, но я постарался улыбнуться девушке:

— Какое красивое у вас имя! А почему вас все Инной называют? Если можно, я буду вас звать Инобат, хорошо?

— Дома меня так и зовут, а как только переступаю порог больницы, только и слышу: Инна, Инна... Время, наверное, сейчас такое: не только платья, но и имена укорачивают,— легко улыбнулась Инобат, но тут же смутилась: — Пойду я... Вам ничего не нужно? Если что надо, не стесняйтесь,—тихо проговорила она и отвернулась, теребя ворот нарядного платья.

— Благодарю вас, пока ничего не надо,— в свою очередь смутился я, а в душе полыхнуло жаром: «Попросить отыскать Рухсору?!» Провожая девушку взглядом, я твердо — почти твердо — решил завтра же поговорить с ней о Рухсоре.

Окилов дождался, когда затихнут в коридоре быстрые шаги Инобат и, бросив многозначительный взгляд на Джавад-заде, хитро подмигнул мне:

— А я-то думал, что ты тихоня! Правду говорят, что в тихом омуте черти водятся.

Я с деланным недоумением посмотрел на Окилова.

— Неужели не понял? — хихикнул он.— Втюрилась в тебя девка — я по глазам вижу, втюрилась. Ну и даешь! Вон Хусейн с утра до ночи за девчонками бегаёт, а хоть одна пришла, спросила, как самочувствие, что принести, то да се... Хорош... гусь!

— А что? — весело ухмыльнулся Джавад-заде.— Не бойся того, кто гремит, бойся того, кто молчит. Девушки молчаливых любят — молчаливый, значит, надёжный.

— Это она жалеет.... То есть... Служба у нее такая,— краска ударила мне в лицо.— Да ещё... Не навещает никто...

— А что тут плохого, если и втюрилась? — с невинным видом спросил Окилов.— Радуйся. Что тут терять? Открытый котел любая собака лизнуть норовит, а тут такой котел открывается! Райский!

— В холодном дымоходе и дым холодный!— сердито проворчал Джавад-заде, неодобрительно поглядывая на Окилова — усы у него встопорщились, и учитель вдруг стал похож на недовольного тигра.— Кто же такие слова молодому человеку говорит? Думать надо!

Мне до дрожи хотелось запустить в Окилова чем-нибудь потяжелее, но я сдержался и постарался говорить как можно спокойнее:

— Неверно вы рассуждаете. По-вашему выходит, если девушка кому-нибудь доброе слово смажет, это уже—«открытый котел»? А ведь доброта в самой природе женщины, ее сущности!

— Женское сердце — это сердце нежности! — поддержал меня учитель.— А кого женщина чаще всего опасается? Нас, мужчин! Кто, чаще всего, угнетает, обижает женщину? Мужчина!

— Не знаю, что вы хотите этим сказать,— надулся Окилов,— но мужчина есть мужчина, а женщина — это только-женщина и ничего более! Верно молодой человек говорит,— ехидно улыбнулся он,— сущность у нее такая...

Окилов неопределенно пошевелил пальцами, показывая, какая у женщины сущность, и жест этот, обычный в человеческом общении, вдруг приобрел у него смысл тайный и пакостный.

— А кто еще вчера требовал, чтобы вас женщина-профессор осмотрела? — рассердился я.— Как это понимать?

— На то ее и учили, чтобы она больных осматривала,— мелко пожевал губами Окилов.— И зарплату вон, какую высокую платят.

Ну что толку спорить с таким человеком? Как говорят у нас в кишлаке: «Железный гвоздь в камень не вобьешь!»

— Пришлось мне однажды такую женщину встретить, что всю душу перевернула,— грустно улыбнулся, глядя на нас, Джавад-заде.— А началось все с пустяка — место я ей свое в поезде уступил. У меня нижнее было, а ей, бедняжке, верхнее досталось...

— И что — сладилось дело?— показал желтые зубы Окилов.

— Верно, говорят в народе, что у кривого прямых дорог не бывает,— окончательно рассердился учитель.

— Вот я и говорю,— подхватил Окилов.— Прямота мужчины — одно, а кривизна женщины — другое. Если у женщины есть стыд и совесть, это еще куда ни шло, а если нет...

— Я ему про небеса, а он мне про золу в костре! — Джавад-заде грузно приподнялся и, посмотрев на Окилова, тяжело вздохнул.

— Что бы вы тут ни говорили, а в моих словах самая сердцевина истины. Все, что женщина имеет, она должна только одному мужчине дарить — мужу!—подвел итог спору Окилов и привычно хихикнул.— Одному мужу!

Я уже нащупывал левой рукой кружку, чтобы запустить в его сытое, как блин, лицо, но тут в палату влетел сияющий Хусейн:

— Выписывают!

7. ДНИ И РАЗГОВОРЫ

Верно, говорят, что подлинная цена здоровья только немощному известна. Сколько раз я слышал разговоры стариков о том, что здоровье — самое большое счастье в жизни, что беречь его надо смолоду. Слышал и пропускал мимо ушей — кому не известна нудная привычка стариков поучать. Теперь-то я знаю, что старики правы — за их плечами мудрость поколений. Но... Все дело в том, что постигает эту мудрость всяк сам по себе.

Дни тянулись медленно и серо, не дни, а тягучая череда процедур, сна, завтраков, обедов и ужинов, и, таких же тягучих, как эта череда, мыслей. И малейшее событие, разговор, даже слово, приобретали в темном мирке больничной палаты едва ли не глобальное значение.

Мне разрешили ходить! Произошло это утром, сразу после обхода врачей, и я не стал медлить. Кое-как накинул на плечи халат и отправился во двор. Двор, свобода тянули меня неудержимо. На лестнице я столкнулся с Инобат, она несла куда-то коробки с лекарствами и, видимо, торопилась, но, увидав меня, остановилась:

— Видела я вашу Рухсору!— лукаво улыбнулась Инобат.— И, знаете, очень интересно получилось: на автобусной остановке мне встретилась девушка, и я почему-то сразу подумала, что это Рухсора. Пока разыскала общежитие, узнала номер комнаты, нашла ее, стучу, открывается дверь: «Здравствуйте!», та самая девушка. Рухсора! Мы почти до полуночи болтали. Я даже ночевать там осталась...

— ???

— Очень хорошая девушка. Мне понравилась. Только знаете... Какая-то... В общем... Из Халкасия,— мягко улыбнулась Инобат.— Суровая...

Я хорошо понял, что имела в виду Инобат под определением: «Суровая» и улыбнулся в душе: «Мне-то как раз вот такая «суровая» и по душе». Я уж говорил вам, что я деревенский парень. У нас в горах легкомыслие и ветренность не в цене.

Инобат окликнули, и она поспешила в перевязочную, несколько холодно кивнув на прощание: видимо, ей не понравилась моя глупейшая!—рот до ушей, улыбка. А что я мог с собой поделать? Мне каждое слово о Рухсоре — знамение о событиях значительных и прекрасных!

Корпуса нашей старенькой городской больнички располагались в таком же старом, как и эти корпуса, парке, и я чуть ли не пел, когда, слегка пошатываясь от слабости, брел по его тенистым аллеям. Рухсора целиком занимала мои мысли, и все вокруг: аллеи, деревья, трели птиц, цветы — все это было Рухсора! В каждом лепестке я видел ее лицо, в каждом шорохе, звоне воды, трелях птиц я слышал ее голос...

Я присел на корточки около большой и довольно запущенной клумбы с цветами. Цветам было нелегко здесь, в тени старых деревьев, они изо всех своих слабых сил тянулись к солнцу, и меня, как необыкновенное открытие, поразила эта слабая и упрямая сила. Мне казалось, что я понимаю язык воды, шелеста листьев, медлительного гула пчел, я растворялся в их многоязыком говоре, как еще в детстве умел растворяться во всем, что окружало меня: камнях, траве, стволах

деревьев, ощущая себя камнем, ручьем, деревом, травой на альпийских полянах... Сливаясь с вечной красотой и тайной природы. Мне мазалось, что я давным-давно, в шуме и суете городской жизни, потерял способность вот так, полно и нерасторжимо, сливаться с окружающим миром, и вот, сейчас...

Небольшой пластмассовый мешочек с розоватыми крупинками азотного удобрения сиротливо стоял под скамейкой, я отыскал клочок газеты, отсыпал несколько щепоток и бережно спрятал пакетик в карман халата.

В палате пахло дыней. Окилов, вооружившись большим кухонным ножом, ловко нарезал длинные тонкие ломти, наискось, до самой корки, насекая их на влажно-сахаристые кубики.

— Что это у вас? — спросил он, облизывая губы. Пакетик в моих руках донельзя заинтересовал его — любопытство Окилова не имело границ, и меня всегда поражало, что при таком неумном любопытстве, он оставался глубоко невежественным человеком.

— Удобрение.

— В детстве я не раз слышал такую притчу,— Джавад-заде тыльной стороной ладони расправил усы, что означало: «Слушайте и внимайте!» и, солидно кашлянув, продолжил: — Мальчик спрашивает у арбакеша: «Дядя, что это у вас лежит на арбе?» «Навоз»,— ответил арбакеш. «Какой же это навоз? Это хворост!»— воскликнул мальчик. «Если ты такой умный, зачем спрашиваешь?» — усмехнулся арбакеш.

— А меня в школе учили, что спрашивать не грех! — сказал я.

Старики рассмеялись.

— Нет, кроме шуток, что это такое?— не отставал Окилов.

— Удобрение. Для цветов,— на подоконнике у нас стояло два горшка с чахлыми цикломенами. Я осторожно взрыхлил в горшках землю, растер в порошок крупинки удобрения и, смешав с водой, полил растения.

— Ну и широкая у вас душа! — не сдержал ехидной улыбки Окилов.

— Доброе дело! — поддержал меня Джавад-заде — Что, всю жизнь ломать, что ли? Третий горшок кто разбил? А? — учитель повернулся к Окилову.— Не вы ли?

— Жаль,— тихонько пробормотал я, аккуратно отщипывая засохшие черенки.

— Нашли о чем жалеть! — высокомерно произнес Окилов.— На страшном суде об этом горшке и не вспомнит никто.

— Растения, как люди, и чувствуют, и страдают,— пояснил я.— Они даже плакать умеют!

— Э-э-э, сказки это!

— Я совсем еще мальчишкой был... Надрали мы однажды по полной пазухе зеленого урюка, а мать пугала нас: «Проклянет вас урюковое дерево!» Выходит, мать правду говорила? — постарался скрыть в усах усмешку Джавад-заде.

— Беспокойство растений редко простым глазом заметишь,— уж что-что, а это-то я знал! — но приборы четко фиксируют и беспокойство, и угнетенное состояние растений. Они даже в музыке разбираются. Индийские ученые доказали, что они очень не любят современные джазовые мелодии...

— Ну, теперь я верю, что у травы душа есть! — воскликнул Джавад-заде. — Этот джаз любого с ума сведет! Как его молодежь переносит? А ты серьезно... Про музыку?

Я кивнул.

Окилов с растерянным недоумением вертел головой —он никак не мог понять, шутим мы или серьезно беседуем. Я давно подметил любопытную черточку в характере Окилова: он очень боялся попасть в неудобное положение. Как ни странно, довольно часто вот такие, взрослые, с большим житейским опытом, люди опасаются иметь собственное мнение. Лишь сильный и умный человек способен признаться в незнании или неумении.

— Это прописные истины. Растения — часть живой природы, где все взаимосвязано. Есть растение росянка— она насекомыми питается. Ловит на капельку клейкой массы, похожей на росу, мелких букашек и заглатывает...

— Каких только чудес нет на свете,— тихо качнул головой Джавад-заде.— Каждый день новое открытие. Есть ли предел могуществу человеческого ума? Ученики, которых я учил читать, сегодня с тайнами мироздания на «ты». Удивительно!

— А-а, оставьте! — Окилов почувствовал себя в родной стихии.— Ученики-ученики... Что, без вас ученик человеком бы не стал? Вы их

только читать и писать научили. Вес настоящего человека не чистописанием определяется.

— В каждом из них — частица души моей! — грустно и тихо воскликнул Джавад-заде. Дрожащей рукой он тронул поникшие усы и вышел в коридор.

— Напрасно вы так, — упрекнул я Окилова.

— А чем он гордится? — неожиданно яростно зашипел Окилов. — Мои ученики, мои ученики! Этот этим стал, тот — тем!.. А сам? Чего достиг? Чему можно у нищего научиться? Нищете?

— Вы не правы! — холодная злость бурлила во мне, но я решил не отступать. Лутфулло не простил бы мне отступления. — Каждый из нас всю жизнь несет в себе огонь, зажженный учителем. Отца и первого учителя не забывают никогда. Дети и ученики всегда идут дальше своих родителей и наставников, но, если не научить их ходить, говорить, читать, думать... Вон в Индии двух девочек нашли — волки их воспитали, так они никогда и не стали людьми. Учитель это... Иной раз выше отца с матерью, и единственная его гордость в жизни — ученики!

— И ты туда же, — махнул рукой Окилов. — Он за свою работу деньги получает.

— А у вас какая зарплата? — спросил я Окилова.

— Это зачем тебе знать? — насторожился он.

— Если не секрет? — настаивал я.

— Какой там секрет, — натянуто улыбнулся он. — В среднем — двести рублей в месяц.

— А учитель гораздо меньше получает. И работа у него без перекуров и выходных. И схалтурить он не имеет права — дело с детьми имеет, а не с кирпичами. Тут или уж всю душу отдай, или уходи. И никаких тебе премиальных!

— Я и не говорю, что это мужская работа, — хмыкнул Окилов. — Учительствовать — женское дело.

— Многие так рассуждают, а вот я думаю, что зачастую девушки без призвания в институт педагогический идут, и...

— Знаю я одного человека, — бесцеремонно прервал меня Окилов, — так он тоже учителем был. Прямо скажу, не жил, а бедствовал. Дом старый, детей много, кроме одного костюма, ничего из одежды не было. Недавно встретил его — от удивления чуть собственную тубетейку не проглотил. Гладкий, важный, манеры, как у министра,

костюм на нем заграничный, рубашка белоснежная: не хочешь, да поклонись. Говорю ему:

— Как ваши дела, уважаемый учитель?

— Пусть ветер ваши слова унесет,— нахмурился он.— И не напоминайте мне больше про учительство!

Оказывается, оставил он работу в школе и стал инспектором в общепите. Столовые проверяет. Говорит: «Слава богу, теперь живем, как люди. Работа у меня такая, что каждый поблагодарить старается... Ну и я, в свою очередь, людям помогаю».

— Чего же тут хорошего?! — возмутился я.— Был человеком, стал жуликом!

— Плохо ты, брат, жизнь знаешь,— снисходительно выпятил губу Окилов.— Какое же тут жульничество? Ты поможешь человеку, он тебя отблагодарит — теперь все так живут.

— Я так не живу. И мои друзья...

— Молодые вы еще. Обломает жизнь — научитесь.

Я рассмеялся.

— Чего смеешься, неразумный? — подобрал губу Окилов.— Ты, я вижу, еще холостой. Вот будешь свататься — вспомнишь мои слова о том, бывшем, учителе... Сто раз вспомнишь! — Окилов собрал дынные корки на поднос и пошел к двери.— Пойду, разыщу соседа. А то он до вечера дуться будет...

* * *

Вечером, у входа в наш корпус, я встретил дочь Джавад-заде. Она робко попросила позвать отца, и я охотно отправился выполнять ее просьбу.

Старый учитель дремал, укрыв бритую голову теплым одеялом. Любил подремать старик, сидит, сидит, листая какой-нибудь журнал, смотришь, а он уже всхрапывает. Я осторожно тронул его плечо:

— Ваша дочь пришла. Она во дворе ждет.

— Кто ждет? — учитель открыл глаза и сонно потянулся.

— Дочь ваша. Вредно вечером спать, голова болеть будет,— улыбнулся я старику.

— Бог с ней,— буркнул Джавад-заде, и не думая подниматься.— Не беспокойтесь.

— Сказать, чтобы...

— Сиди! — рассердился старик. — Чтоб ее...

Я пожал плечами и пошел к своей кровати. Спрятал вспыхнувшее лицо за газетой — строчки прыгали перед глазами. Никогда еще Джават-заде так со мной не разговаривал. В чем дело? Нехорошо в чужие дела вмешиваться, но ведь ждет же человек! Еще подумает, что я ее просьбу не выполнил... Я уже имел случаи убедиться, что Джавад-заде — старик капризный и своеобразный, но чтобы вот так обойтись с родной дочерью?!

Весело прищелкивая пальцами, пришел Окилов. Он всегда преображался в предчувствии угощения.

— Вставайте, друг мой, — сладко пропел он. — Доченька ваша пришла, ужин принесла!

Джавад-заде лишь махнул рукой.

— Не-е-ет, так дело не пойдет, — настаивал Окилов. — Поднимайтесь, нечего ломаться. Подумаешь, обидчивый какой!

— Не выйду, — упрямо повторил Джавад-заде. — Пусть уходит.

— Расстроится же, — несколько растерялся Окилов. Он несколько мгновений помолчал, а потом спросил примирительно: — Может быть, вы чего-нибудь вкусенького хотите? Я передам.

— Ничего. Пусть больше не приходит.

— Охо-хо, — вздохнул Окилов и пошел объясняться с дочкой приятеля. Вернулся он на удивление быстро, до ушей растягивая полные губы.

— Вот манты так манты! — Окилов с шумом втянул в себя воздух и зажмурился. — Прямо слюнки текут. Нечего себя мучить. Ну, некогда было ей, говорит, мясо хорошее — специально для вас! — только сегодня достала. Что поделаешь — жизнь! Вы же видели, как я на прошлой неделе свою жену костерил — до могилы запомнит! Семь поколений предков ее в могилах перевернутся от стыда! В девять вечера проклятущая заявила. Я все глаза проглядел, а она: «Сестра поздно с работы пришла. На кого детей оставлю?» Ну, я и выдал ей. На полную катушку. На другой день спозаранку заявила. Я передачу принял, а сам не вышел. И даже полсловечка не передал. Смотрю, под окном ходит и ревет. Так, думаю, тебе и надо. Будешь ценить мужа!

Приятели уселись ужинать, пригласили и меня, но сочные манты не лезли в горло. Я сказал, что мне нельзя острого и ушел из палаты.

Настроение испортилось окончательно. Перед глазами дрожащее лицо дочки Джавад-заде и заплаканная жена Окилова, понуро стоящая под окном палаты. О, женщины, женщины! Имя ваше — любовь, а судьба — терпение.

8. ПОРА ЛЮБВИ — ПОРА МУЧЕНИЙ

Говорят — любовь окрыляет. Не знаю, крыльев за спиной я не чувствовал, но с тех пор, как я познакомился с Рухсорой, сердце мое не знало ни минуты покоя. Было ощущение, что я живу на вокзале, вот-вот подойдет поезд и увезет меня в края волшебные. Я все время чего-то ждал. Примерно с таким же чувством смотришь увлекательный фильм: до смерти интересно, чем же все это кончится, и одновременно хочется, чтобы фильм продолжался бесконечно. Дикость какая-то. Нелепость. Но все было именно так.

Дни были похожи на сон, сны снились реальнее, чем самая реальная явь. Работал я ассистентом на кафедре Джура-заде, и профессор поглядывал на меня неодобрительно, хотя, как я считал, придраться ко мне он не мог — не за что. Целые дни я проводил в лаборатории или библиотеке, подбирая материалы по биологической защите растений, а выходные проводил на опытном участке...

Рухсора, занимавшая все мои мысли, чувствовала себя прекрасно. Она на удивление быстро освоилась с институтскими порядками и сейчас считалась не только успевающей студенткой, но и активисткой всевозможных кружков и обществ. А меня грызли сомнения: до конца ли искренни и серьезны наши отношения? Невозможно было понять, любит ли меня Рухсора, или сердце ее тянется к дружбе. Настала пора поговорить серьезно. До конца. До полной ясности.

Каждый день я решаю, что сегодня же обязательно, непременно поговорю с Рухсорой, и каждый день что-нибудь да мешает. Нельзя сказать, что мы редко видимся. Видимся-то мы каждый день, иной раз даже по несколько раз. Но что за свидания? Минутные встречи в коридоре или столовой? Полчаса — час прогулки по аллее институтского парка? Ну кто из влюбленных не мечтает провести с любимой девушкой вечер?.. Оранжево-золотистый диск луны трепетно колыхается в

длинных, как девичьи косы, ветвях вавилонской ивы, журчит фонтан, наша крохотная скамейка прячется в густой тени дерева, мы сидим рядышком, тесно прижавшись, друг к другу, и... Рухсора упорно отказывалась от такого свидания.

Между тем над нами собирались грозовые тучи. Халкасайцы и в городе друг за дружкой в сто глаз глядят. Кто-то из них, узнав о наших мимолетных встречах, поспешил сообщить родителям Рухсоры... Рассви-репевший отец девушки тут же явился к ректору института и выложил все, что думает по этому поводу. Ректор вызвал меня.

— Отец приезжал,— без предисловий начал он, справедливо полагая, что мне хорошо известно — чей отец может приехать в институт.— Трудная у нас была беседа. С таким человеком легко и просто не поговоришь,— Саме-заде вздохнул.— А что я мог сказать в твою защиту? Сказал, что парень ты хороший, надежный, что не дело родителей мешать любящим... А он знай одно... Прямо ультиматум передо мной поставил,— усмехнулся ректор и покачал головой.— Требовал, чтобы ты, продолжая работать в институте, купил в городе дом... Уважаемый, сказал я,— Саме-заде прервал себя на полуслове и резко повернулся ко мне.— Ты мне лишних хлопот не устраивай! Задумал жениться — женись. Но так, чтобы ко мне родственники с претензиями не являлись. Ты — работник института, а она студентка-первокурсница... Что могут люди подумать? Любишь, так бери ее в жены, а если что другое... Берегись!

Я опустил голову. Ректор постучал пальцами по столу, поглядел в окно, опять постучал пальцами по столешнице и лишь тогда соизволил посмотреть на меня. Покорность моя, видать, успокоила его, и он смягчился:

— Ты... Вот что,— мягко и доверительно сказал он — Мало ли в городе хороших девушек? Выбирай любую, приходи ко мне — я сам сватом буду. Свет клином, что ли, на этой халкасайке сошелся? Посмотри на себя — фигура, внешность, красивый парень, стоящий специалист, в самом лучшем институте республики работаешь, а из-за этой девчонки можешь судьбу свою погубить. Плохо, когда человек слишком заносится, но, оказывается, еще хуже, когда он себе цены не знает! — Саме-заде с досадой покачал головой и махнул рукой. — Иди! Подумай!

Так я и не понял ректора: действительно ли он думал так или его высокий пост таких слов требовал? Глупцом его не назовешь, Саме-заде

был не только прекрасным администратором, но и крупным ученым. Кто знает, может, ректор по-своему прав?

Рухсору он тоже вызывал, и нельзя сказать, чтобы эта беседа помогла нам. Впрочем, одно было несомненно: мы оба почувствовали, что пришло время решения, и каким бы оно ни было, нам друг без друга не жить. Удивительный человек Рухсора! Истинная женщина — никакой логики в поступках! После беседы с ректором она стала бешено ревновать меня ко всем женщинам без исключения. Стоило мне заговорить с кем-либо из представительниц прекрасного пола, как тут же являлась Рухсора и отзывала меня в сторону на предмет «важного разговора». Конечно же, ничего сверхъестественного не случилось — мне иногда казалось, что Рухсора знает мой день по минутам, — но Рухсора целых полчаса могла меня теревить каким-нибудь пустяком, дожидаясь, пока моей собеседнице это не надоест. Победно поглядев в сторону удалившейся «соперницы», Рухсора благосклонно разрешала мне «заняться настоящим делом». Ну что ты ей скажешь?

Однажды я спросил ее, почему родители против нашего союза и счастья.

— Не знаю, — тихо ответила Рухсора и пожала плечами. Видно было, что она действительно недоумевает.

— Ведь ты сама говорила, что они не противились поначалу? Дядя твой приходил со мной познакомиться, сестра...

Рухсора вновь пожала плечами.

Мне очень хотелось поцеловать ее — лицо у Рухсоры стало таким... Обиженно-детским и невероятно прелестным. У меня даже губы пересохла.

В начале сентября Рухсора с важным видом отозвала меня в сторону и торжественно объявила, что на днях приедут ее родственники — посмотреть на меня. Я едва сдержал нервный смешок: смотрины, значит, произойдут. Рухсора заметила мою кривую улыбку и нахмурилась. Отошла на несколько шагов, скептически оглядела меня, и...

— Выбрось ты эти галоши, — брезгливо сказала она, указывая на мои выцветшие вельветовые туфли. — Небось, всю свою зарплату на пустяки тратишь.

Во, дает девочка! Туфли ей мои не нравятся! Она, наверное, думает, что (ассистент кафедры многие тысячи получает. А я беднее церковной крысы, как пишут в старых романах.

— Они тебя не видели, но за вас стеной,— продолжала Рухсора.— Тут все в тесный клубок переплелось. Мне по секрету сказали, что отец какого-то своего друга сватом назвал. У того сын в Москве, в аспирантуре учится... Так что тебе обязательно надо моим родственникам понравиться. Дядя с отцом разговаривал уже, сказал, что парень ты очень хороший, талантливый, поэтому тебя и оставили на кафедре.

— А отец что?

— Отец, — Рухсора поморщилась, будто зеленый урюк разгрызла.— Он жаловаться стал. Никого у них, мол, кроме дочки нет, кто на старости лет кормить будет? Если за него — за тебя я то есть — замуж выйдет, он институт бросит, в свой кишлак уедет, а им — отцу и матери, значит,— негде будет голову приклонить.

Рухсора вновь пожала плечами и отвернулась.

«Ну, нет,— подумал я.— Разговор этот я до конца доведу. Слишком многое решается в моей жизни. Тут не до церемоний».

— А еще о чем говорили?

Рухсора умоляюще посмотрела на меня.

Я ответил ей суровым взглядом, и она сдалась. Ковыряя носком туфельки паркет, она неохотно призналась:

— А еще отец сказал, что человек ты одинокий, ни влиятельных родственников, ни собственного дома... Что не может он позволить любимой дочке жить под открытым небом.

— А еще?

— Э-э-э! — рассердилась Рухсора.— Много чего говорили, что я тебе — магнитофон? Я только твои слова все до единого помню, а остальные... Очень мне нужно их запоминать!

И убежала, быстро постукивая каблучками.

Вот и пойми — для чего она мне все это рассказала? Что-то с Рухсорой в последнее время непонятное творится. То мила и любезна, а то едва узнает при встрече. «Нет,— твердо решил я.— Нам обязательно поговорить надо. Иначе что это за жизнь? Каторга какая-то!»

Что там ни говори, а жизнь прекрасна и удивительна! И порой явь куда прекраснее любой мечты... Золотой поднос луны медленно катился по широким листьям столетних чинар, наша маленькая скамейка пряталась в их густой тени, где-то звенели струи маленького фонтанчика, а мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, и разговаривали. Было уже довольно прохладно, я накинул свой пиджак на округлые плечи Рухсоры, но она не согласилась быть единоличницей, и мой старенький пиджак добросовестно грел нас обоих. Я убеждал Рухсору быть порешительнее и прямо сказать своим близким, что мы любим друг друга...

— С каким это лицом я скажу: «Выдайте меня замуж за такого-то». Ни одна халкасайка так никогда не говорила и не скажет! Это ваши, городские... Ни стыда, ни совести! Кому угодно, что угодно ляпнут.

— Давай тайно регистрируемся,— полушутя, полусерьезно предложил я и замер.

— Ой, выдумал! Лучше мне умереть... Не только родители и родственники, семь поколений предков нас проклянут! Слышать тебя не хочу!

— А что? Зарегистрируемся и уедем куда-нибудь в Сибирь... Или на Дальний Восток,—все более смелел я.

— Ага... Родители подумают, что я умерла, и оплакивать начнут!

— Через год-два приедем—простят!

— Ты знаешь что такое — родительское проклятие?!— скорбно и тихо спросила Рухсора.— Ни на том, ни на этом свете нам покоя не будет!

— И ты веришь в эту ерунду?

— Попробуй не поверить! Что я не знаю, какая кара постигла ослушников!

— Тогда уговори отца.

— Сам уговори, если умеешь...

Разговаривать с людьми, подобными ее отцу, я не умел. Тут способности Лутфулло нужны. Мы грустно улыбнулись друг другу и надолго замолчали, прислушиваясь к тишине. Где-то в дальнем углу парка тревожно и тоскливо вскрикнула совка-сплюшка: «Сплю! Сплю!» И все же... Виделся мне в грустной улыбке Рухсоры далекий свет надежды. Я твердо верил, что ничто не властно над нашей любовью, если Рухсора всегда будет сидеть вот так, рядом...

— Один парень из нашего кишлака в городе учился и привез в кишлак городскую девушку. Свадьбы, считай, и не было. Так, вечеринка. Соседям сказали, что в городе свадьбу справляли. А оказалось, что увез этот парень невесту без согласия родителей. Год вместе прожили, два, девочка родилась, а все же ушла она... Вот что значит проклятие родителей! Если мать проклянет, то еще ничего, юная жена матерью станет, своим молоком грех проклятья смоеет, а вот если отец, то тут уже ничего не поможет,— горько вздохнула Рухсора.

— Ну и мусор у тебя в голове,— укоризненно покачал я головой.— Чему только тебя в школе учили? Из тысяч влюбленных одна-две судьбы и без проклятия родителей рушатся. Вон Инобат, смотри, какая мужественная девушка...

— Что-то ты часто Инобат вспоминаешь?!

— Что тут плохого? Она хорошая девушка.

— Вот и иди к цей!

— Как тебе не стыдно, Рухсора! — обиделся я.

— Я же не говорю, чтобы ты на Манучехра равнялся,— скороговоркой буркнула Рухсора и кокетливо отвернулась.

Вот характер! Как погода весной—то снег, то солнце! И за словом, в карман не полезет.

— Ладно! — как можно солиднее сказал я. Рухсора затихла, прислушиваясь.— Ладно. Поговорю я с твоим отцом. Но... С одним условием: ты мне поможешь.

— Чем? — встрепенулась Рухсора, и трепет этот сказал мне больше любых слов: любит!

— Всему свой срок,— сказал я, лихорадочно придумывая способ убедить ее отца.— Займу у ребят десятков тысяч, хлопну пачкой о стол...

— Эх, ты! — поникла Рухсора.— Расскажи свой сон воде, говорят, помогает. Не нужен моему отцу калым. Был бы нужен — не отпустил бы в город учиться. Стоило ему или мне захотеть — с ног до головы деньгами бы усыпали. Были такие... С деньгами. А меня за деньги не купишь! — гордо вскинула голову Рухсора,— Не родился еще такой человек! Отец, хоть и не шибко передовой, добра мне желает. Счастья. Потому и колеблется: ты его тоже пойми — как незнакомому ненаглядную доченьку отдать?

— Ну и как быть? Самому пойти—неприлично. Отца своего послать, пусть скажет, что его сын — хороший парень?

— Тебе лишь бы языкам чесать!— сердито топнула Рухсора.— Пять лет человек в институте учился, а для любимой девушки ничего придумать не может!

Сухой листок чинары косо скользнул в воздухе и мягко лег на косы Рухсоры. Я протянул руку, чтобы убрать его... Дальнейшего я никак не ожидал. Рухсора, слоено гибкая расствирепевшая кошка, метнулась в сторону — ослепительно белые зубы сверкнули в темноте,— во, пантера! Багира!

— Это что еще такое?! Что за вольности?!

Я хохотал. Я просто захлебывался хохотом, глядя то на Рухсору, то на сухой листок, который все еще лежал у меня на ладони. Рухсора, широко открыв глаза, шумно дышала во тьме. А я хохотал все громче — почти до истерики, и она не выдержала, засмеялась тоже.

Наш смех победно летел по ночному осеннему парку, по темным кустам и деревьям, по пустынным аллеям и сухой листве.

Громкий, беспечный смех. Почти до слез.

9. ТАЙНА И СТРАСТИ

Не помню другого периода в своей жизни, когда бы мне приходилось столько работать, читать, думать и чувствовать. По-моему, человек взрослеет и мужает не с возрастом, а в тот момент, когда он вдруг начинает понимать, ощущать всю полноту и беспредельность окружающего мира и, словно Атлант, подставляет свои плечи под грузный свод работы, мыслей и чувств. Кажется, это называется чувством ответственности.

Я вел семинарские занятия. Раньше мне и в голову не приходило, что это так увлекательно, так тяжело и... сложно. Каждый день был для меня открытием. Самого себя, окружающих меня людей, открытием мира. Надо ли говорить, что я готовился к занятиям так, как раньше не готовился к самым серьезным экзаменам. Но зато как легко я чувствовал себя в аудитории, как вдохновлял искренний интерес, вспыхивающий в глазах моих — моих — студентов.

Оказывается, преподаватель сразу же отличает способного ученика от бездарного, трудолюбивого от лентяя, старательного зубрилу

от старающегося мыслить самостоятельно и оригинально. И ведь каждый из них — индивидуальность, и в каждом хватало и белого, и черного, и малинового в крапинку, и множество другого и всякого, и... С удивлением я обнаружил вдруг, что мои лекции быстро раскололи студентов на несколько довольно четко различимых групп. Одни пошли за мной сразу и безоговорочно, им было интересно и радостно открывать вслед за мной то, что я сам открывал для себя в пору студенчества, в долгие ночные часы размышлений над шипами, собственными наблюдениями и чувствами. Им было дьявольски интересно идти вперед и открывать. Другие понимали, что мои лекции нужны, и воспринимали их, как восприняли бы любую другую лекцию: «задали — учи!», и они учили, третьи откровенно обижались, жалуясь на мою излишнюю требовательность: с какой стати они должны учить то, что едва разыщешь в монографиях? Для чего тогда учебники?

С таким же точно удивлением я обнаружил, что мои занятия далеко не безразличны не только студентам, но и преподавателям. Оказывается, кто-то из студентов пожаловался в деканат на мою «придирчивость». Исрофил-заде «дружески» посоветовал не превращать институт в академию и более терпимо относиться к студентам, требуя знаний лишь в рамках утвержденной программы; на одном из собраний преподавательского состава Наими выступил с большой речью о том, что пора пересмотреть устаревшие программы — сама жизнь зовет нас вперед, и при этом многозначительно кивал в мою сторону; Обиди яростно защищал фундаментальность знаний, предостерегая — со ссылками на историю науки — от поспешных выводов и течений...

В деканат я зашел случайно—сейчас уже не помню, зачем. Декан разговаривал с Обиди и Салоховым:

— ... не понимаю, с какой это стати, на мою лекцию? — громко возмущался Обиди.— Почему именно меня необходимо проверять? Два месяца назад все мы прошли конкурс...

— Не думаю, чтобы это было специально,— примирительно сказал Наими.— Знакомятся с постановкой преподавательской работы, а сейчас как раз ваша лекция, — декана, видимо, задели слова Обиди — «все мы прошли конкурс», он, хмыкнув, заглянул в листок с расписанием лекций и пробормотал, вроде бы ни к кому специально не обращаясь:

— А ведь вы, кажется, болели, когда проходил конкурс? По-моему, это во второй раз?

— А почему бы им не пойти на лекцию вот этого молодого человека? — вдруг обратил на меня внимание Салохов.

— Он же всего лишь ассистент,— пожал плечами Наими.— Что скажет ректор? Приглашать таких солидных людей на лекцию молодого ассистента,— Наими вновь пожал плечами.

— А что? Недурная мысль,— встрепенулся Обиди.— Молодежь нужно воспитывать. Пусть послушают, подскажут...

— Наврузов, у вас уже были сегодня занятия? — декан пожевал губами и выжидательно поглядел на меня.

— Уже провел,— ответил я коротко.

— Я плохо себя чувствую, пусть проведет за меня,— страдальчески сморщился Обиди.

Декан вновь пожевал губами, обдумывая слова Обиди, потом в глазах у него что-то мелькнуло, и он кивнул головой.

— Хорошо. Пусть проводит. Учтите —нас проверяет серьезная академическая комиссия. Это высокая честь и... Экзамен на зрелость,— декан ободряюще улыбнулся.— Желаю удачи!

— Кроме пользы ничего не будет,— больно развалился в кресле Обиди, закуривая сигарету.— Мне, например, всегда помогали советы старших товарищей.

«Говори, говори,— подумал я, сжав зубы.— Я хорошо помню, как однажды в аудиторию, где ты читал лекцию,— какое там «читал», бубнил по тетради — зашли члены комиссии. Помню, как ты торопливо прятал в портфель тетрадь, как по-петушиному взлетел на кафедру и стал пространно объяснять значение зимних поливов. Всем нам эта тема — тема твоей кандидатской — была известна чуть ли не наизусть. До тошноты «Советы старших товарищей» ему, видите ли, всегда помогали!»

Что тут скрывать, волновался я так, что до сих пор дрожь пробирает. Когда Джура-заде вместе с гостем вошли в аудиторию, спазма сжала мне горло, и минуты три я вообще молчал. Выручил Джура-заде. Он мельком глянул на меня и... с грохотом уронил свой портфель, как всегда, до отказа набитый книгами... Дай мне бог, хоть когда-нибудь стать таким же мудрым и неловким!

В деканате, после занятия, гость улыбочиво расспросил меня о здоровье, настроении — ничего особенного, обычная вежливость незнакомого человека; необычной была его короткая реплика:

— Хорошим преподавателем будете. Пора вас к научной работе привлекать,— гость записал мою фамилию в изящный блокнотик и добавил: — Если хотите, поступайте к нам в аспирантуру.

«Господи,— подумал я в совершенной растерянности.— Хоть бы Джура-заде еще раз уронил свой портфель!» Даже поблагодарить не сумел. Пробормотал что-то нечленораздельное, заливаясь краской, и удрал из деканата.

Через несколько дней Джура-заде решил, что пора меня спустить с высот на грешную землю:

— Да-а,— сказал он.— Восходящая звезда... Аспирантура... Эт-то хорошо. Эт-то подарок. Подарочек. Не будет вам подарка. Со стыда можно было сгореть, слушая ваше мычание на лекции. Вы когда-нибудь слышали...

Дальнейшее можно не приводить. Уж кто-кто, а Джура-заде умел возвращать на грешную землю. Из самых заоблачных высот. Я даже и не слышал о тех аспектах проблемы, которые мне следовало, если не раскрыть, то хотя бы упомянуть на той злополучной лекции. Вручив мне длинный список рекомендуемой литературы — почти половина на английском! — Джура-заде величаво удалился. Зевс! Громовержец. Ну когда мне это читать? Когда? Я и так спал не более пяти-шести часов в сутки.

Впрочем Джура-ака был, как всегда прав. Пора было возвращаться на грешную землю. У меня как раз назрел конфликт со старостой группы. Активист, душа коллектива, энергичный парень, один из тех, кто неизменно участвует и организует все институтские мероприятия, староста мне нравился своей, бьющей через край, энергией. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что он не только не знает темы прошлого занятия, но и вообще «плавает» по предмету!

Мог ли я думать, что «неуд», поставленный старосте, вызовет такие страсти среди нашей преподавательской общественности. Первый дальний раскат грома я мог бы услышать в нарочито-мягком предупреждении Исрофил-заде:

— Авторитет старосты не следует подрывать. Уж больно вы ...не гибкий.

А меня отец гибкости не учил. «Прямая борозда добрый хлеб дарит,— говорил он.— Кривой правды не бывает».

Если и есть в мире действительно неунывающий человек, так это Манучехр — мой друг и однокурсник. Вот кому я иной раз завидую! Для него не существует проблем — их он решает так, словно орешки щелкает: сверкнет белыми зубами, улыбается, щелк! — и готово. Вот оно — ядрышко. Меня всегда поражало и восхищало это его умение. А Манучехр, знай себе, хохочет. Да так заразительно!

Далеко не каждый человек умеет смеяться от души. Один просто кривит губы, второй улыбается, а глаза холодные, третий просто-напросто боится смеха... Манучехр смеется так, что улетают прочь любые заботы. Вот так же, по-детски беспечно, иной раз хохочет Джуразаде.

Я как-то рассказал ему, что в детстве любил наблюдать за муравьями, и однажды мне в голову пришла совершенно гениальная мысль: муравьи терпеть не могут, когда в муравейник проникают посторонние насекомые, а у нашего щенка столько блох, что он даже бегать не может — все время чешется. Дай, думаю, зарюю щенка по шею в муравейник. Муравьи съедят всех блох и облегчат страдания бедняжки. Сказано — сделано. Я сунул щенка в муравейник, засыпал его по шею и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Щенок вдруг взвыл дурным голосом, косматой кометой взлетел над муравейником и с такой скоростью метнулся вниз, что у меня в глазах зарябило. Вернулся домой он только на следующий день.

Джуразаде смеялся так, что я забеспокоился — как бы не задохнулся.

Манучехр еще летом, получив диплом, уехал в дальний областной город, но сейчас был в Душанбе — решил заочно учиться в аспирантуре. К нему-то я и отправился. Тоска обручем сжимала сердце — уж больно все неопределенно, зыбко, тревожно... Да и куда пойти вечером молодому холостяку. Ресторан не для меня, кино не прельщало, чайхана? Попробуй, найди сейчас в городе чайхану, где, как в былые годы, можно было бы допоздна посидеть с друзьями, поболтать, попивая чаек?! Маленькие, уютные чайханы, что раньше были в каждом квартале, позакрывали, остальные модернизировали так, что не поймешь — ресторан это или чайхана. Да и цены там стали непомерные.

Когда при мне заходит разговор о чайхане, я невольно вспоминаю старого музыканта Самими. Старик без чайханы жить не мог и в любой

разговор вставлял слово «чайхана». «Вчера, когда я вышел из чайханы..», «Сидел я в чайхане и думал...», «А у нас, в чайхане...». Однажды на худсовете Союза, композиторов обсуждалась опера молодого композитора. Самими вышел на трибуну, откашлялся и начал так: — «Я тебе еще два месяца назад, в чайхане...» От смеха все полегли...

На мое счастье Манучехр был дома, когда я, окончательно затосковав, отправился к его дальним родственникам, которые души в моем друге не чаяли и предоставили целую комнату в его распоряжение. Манучехр крутился перед зеркалом. Ну что за человек! Хоть земля тресни, а он из дому не выйдет, пока галстук не завяжет и в зеркало не заглянет.

— Прошу тебя, о милый друг, прошу, скорей входи!— пропел Манучехр, раскрывая объятия. Мы обнялись.

— Что-нибудь случилось? — обеспокоенно спросил Манучехр, наклоняясь, ко мне. Тон у него серьезный, а в глазах чертики так и скачут.

— Да так. Что-то не по себе...

— Суду все ясно,— торжественно произнес Манучехр — Одна, не будем называть ее имя, луноликая красавица смутила покой моего друга Вафо, и он, пав в бездну отчаяния... Итак — вывод: будем гулять, приятно беседовать и топить свое горе в чаше с вином. Как бессмертный Хайям. На танцы все равно не пойдешь — танцевать ты так и не научился, на ресторан и чашу с вином денег у нас с тобой нет... Значит, да здравствует парковая веранда и две бутылки пива!

И мы отправились в парк.

Манучехр весело болтал, я краем уха слушал его и думал: «А ведь «легкомысленный» Манучехр далеко не так легкомыслен, как многие думают. И в город он приехал не только из-за аспирантуры... Еще в больнице я познакомил его с Инобат, и Рухсора недавно говорила, что... Кажется, это серьезно...»

— Ты со мной гуляешь или со своими мыслями? — толкнул меня плечом Манучехр.— Я его, понимаете ли, развлекаю, а он надул щеки и молчит.

— Говорят, ты остался без научного руководителя?— сказал я и тут же выругал себя в душе за неуместный вопрос.

Но Манучехр даже не почесался:

— Ха! Была бы голова, а тубетейка найдется. У меня сейчас другие дела.

— Это что у тебя за дела? — сердито спросил я.

— В кружок самодеятельности хожу. На отделение изящных искусств!

— Господи! Это-то тебе зачем? Ходил бы уж лучше в какой-нибудь научный кружок!

— Пять лет учился — пора и отдохнуть! — беспечно ухмыльнулся Манучехр — Пусть наукой такие, как ты, занимаются. Ты случайно не видел — в институтском фойе место расчищают.

— Нет, — ответил я неосторожно. — А зачем?

— Бюст твой будут там устанавливать. В обнимку с божьей коровкой!

— Ну знаешь... Всяким шуткам есть предел! — разозлился я.

— Не сердись, — тихонько попросил Манучехр. — Это я... От растерянности. Инобат в кружок самодеятельности ходит...

Мы надолго замолчали, и грустным было наше молчание.

Вообще, этот вечер так и остался в моей памяти, как вечер, окутанный легкой пеленой грусти. Мы словно бы прощались с чем-то. С юностью? Беспечным смехом? Друг с другом?

Я рассказал Манучехру о разговоре с Рухсорой:

— Не вижу иного выхода — надо разговаривать с ее отцом. А как с ним поговоришь?

— Здесь, в городе, ты ничего не сделаешь! — загорелся мой друг. — Надо ехать в Халкасай!

— Ну и что? — уныло сказал я. — Приедем и в ноги повалимся: отдайте дочь, жить без нее не могу?!

— Увидав воду — снимай сапоги! — отмел мои возражения Манучехр. — Завтра же едем в Халкасай, а там видно будет.

— Может быть... Рухсоре сказать?

— Ни в коем случае! — с железной решимостью воскликнул Манучехр. — Она все дело испортит. Да и что она сказать может? Жених приехал?

— Может... Кого-нибудь постарше с собой взять?

— Мы не свататься едем, а на разведку. Разведка боем, так сказать. Не трусь! Такие добрые молодцы, как мы, любое дело провернуть могут. А уж девчонку украсть — нет проблемы.

— Храбрый ты больно. То-то я смотрю, как ты Инобат крадешь!

—Здесь другое. Здесь мой характер проклятый — легкомысленный ты человек, говорит, язык у тебя без привязи.

Мы вздохнули. Я же говорил вам, что грустный вечер у нас вышел.

10. ВЫСОК ПОРОГ ДОМА ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

«Без дыханья любви даже факел не станет гореть»,— четыре года тому назад я записал этот афоризм в дневник и долго гордился собственной мудростью. На днях дневник вновь попался мне на глаза, я перелистал тетрадь и грустно улыбнулся: какая наивность! Как говорит у нас в кишлаке: «Еще никому не удавалось сшить себе халат из самомнения». И вы думаете, что за прошедшие четыре года я исправился? Ничуть. Еще недавно я улыбался в душе, слушая слова ректора о наших отношениях с Рухсорой. Не прошло и месяца, как я убедился в правоте многих его слов и совершенно не уверен, что в ближайшем будущем не сбудутся другие его предсказания.

Моя любовь к Рухсоре стала достоянием общественности. Пошли суды-пересуды, сбывалось парное предсказание ректора: никого не удивит и не затронет любовь студента и студентки, любовь преподавателя к учительнице, но любовь преподавателя к студентке шокирует многих. «Тут, знаете ли, есть особые нюансы»,— сказал ректор и я, глупец, не поверил ему. А, между тем, тучи над нашими головами стали сгущаться весьма стремительно. Многие преподаватели стали очень прохладно относиться и ко мне, и к Рухсоре—меня это задевало мало, но очень беспокоило настроение Рухсоры: она мрачнела с каждым днем. Я не знал, что делать. Неприязнь к обидчикам могла перерасти у Рухсоры в нелюбовь к институту, а ведь самые счастливые годы жизни — это студенческие годы! Кроме того, нельзя же из-за обиды на преподавателя, терять веру во все человечество, в высокие идеалы и светлое будущее.

Впрочем, и сам я чувствовал себя не лучшим образом. Внешне виду не показывал, но на душе горько. Поездка в Халкасай добра не принесла. Осторожные расспросы Манучехра о родственниках Рухсоры привели к тому, что мы оказались во дворе ее дяди, где нас встретили

отнодь не как дорогих гостей. Язык не поворачивается рассказать о тех оскорблениях, угрозах, которые обрушились на наши бедные головы. Прямо скажу: еле ноги унесли. Садами и огородами, провожаемые свистом и улюлюканием мальчишек, ушли мы из Халкаса — на автобусную остановку, расположенную в центре кишлака, мы не решились даже и показаться. Халкасайцы — люди решительные, и кулаки у них крепкие, а незваных гостей они, судя по всему, не очень любят.

Я брел, не разбирая дороги, от обиды и возмущения было темно в глазах, и лишь одно было на уме: что делать? Манучехр шагал рядом и ругался. Позже он говорил, что ругань всегда успокаивает его. Не знаю, может, это и так, но мне этот метод успокоения не очень подходит. Хотя... В тот момент ругань Манучехра, а он не обошел молчанием ни могил предков, ни усымы и сурьмы всех их прабабушек, приносила мне даже какое-то злорадное удовольствие.

Наконец Манучехр выдохся и неожиданно спокойно повернулся ко мне:

— Слушай, Вафо, неужели ты хочешь породниться с этими скандалистами?! Я бы ни за какие деньги не переступил порога этого дома! Будь Рухсора даже самой несравненной жемчужиной, и то... Как вспомню слова ее старшей сестры!.. И вообще, я удивляюсь, что ты в Рухсоре нашел? Что, у нас в институте не было девушек лучше? Даже на нашем курсе... Вон, недавно Санавбар приезжала. Узнала, что ты в халкасайку влюбился, попросила, чтобы я ей Рухсору показал.

— Ну и что? — посмотрел я на Манучехра.

— Жаль, — сказала. — Пропадет Вафо.

— Слушай ты эти разговоры, — буркнул я и отвернулся.

Мы молча дошли до шоссе и на попутном грузовике вернулись в город. Прощаясь со мной, Манучехр неожиданно беспечно улыбнулся:

— Нет худа без добра!

— ???

— А чему тут удивляться?! — весело оскалился Манучехр. — Поход в нашу пользу. По Халкасаю пройдет слух о нашем посещении и о Рухсоре пойдут разговоры. Как говорят, на чужой роток не накинешь платок. Досужие кумушки ославят девушку, и родственники, чтобы избежать сплетен, будут вынуждены выдать ее за тебя замуж. — Манучехр постоял, посвистел, вытянув губы трубочкой, и с довольным

видом повернулся ко мне: — А знаешь, мне показалось, что Рухсора не очень-то к «советам» родственников прислушивается. Иначе... Чего бы им так горячиться? Видно, с характером девушка. И на своем настоять сможет. Так что, положиись на него.

С тем мы и расстались. Хотелось бы мне иметь уверенность Манучехра.

Заснуть я не мог и до глубокой ночи вспоминал все обстоятельства поездки в Халкасай, Проклятый вопрос: «Что делать?»—не давал покоя. Уже к утру решил, что помочь (мне могут только «авторитетные» сваты. Утром отправился к Джура-заде и, рассказав ему обо всем, попросил поговорить с родителями Рухсоры. Учитель, казалось, ничуть не удивился моей просьбе. Впрочем, и особой радости тоже не выразил. Пожевал, по привычке, нижнюю губу и сказал:

— Хорошо. Только... Одному мне ехать неудобно. Я поговорю с давним своим другом, и мы поедем вдвоем. Не завтра, конечно.

Не поехали они и послезавтра. Прошла неделя, прежде чем Джура-заде и его друг — внешне очень солидный «представительный» мужчина лет лятидесяти-пятидесяти пяти, отправились в Халкасай.

Особого успеха их миссия не имела, хотя, как выразился учитель, «сталь их недоброжелательства превратилась в воск внимания». Договорились, что надо подождать годик. Пусть, мол, молодые люди (то есть мы с Рухсорой) проверят свои чувства, а старики (то есть родители девушки) привыкнут к мысли, что Рухсора покинет их дом. Время, мол, само сгладит все шероховатости дела.

Я поблагодарил учителя за участие и поддержку, но видимо тон мой не очень понравился Джура-заде. Он внимательно посмотрел на меня, пожевал губу, хотел что-то сказать, но лишь слабо махнул рукой:

— Не стоит. Иди.

В глазах учителя промелькнула какая-то искорка, и я не понял: то ли он сердится на меня, то ли лукаво усмехается: «Торопишься, молодой человек, торопишься!»

Сейчас, по прошествии времени, дни и события, происходившие со мной после поездки в Халкасай, вспоминаются мрачноватой чередой лиц, разговоров, сценок... Кажется, что я смотрю в трубку серого калейдоскопа, где все эти лица, (разговоры и сценки, уменьшенные в размере, складываются из всевозможных оттенков серого цвета.

...Сразу после нашего с Манучехром «визита» в Халкасай, кто-то из досужих родственников написал жалобу на имя ректора института, где говорилось, что два хулигана, ворвавшись в мирный дом одного из халкасайских жителей, всячески оскорбляли его обитателей, что один из этих хулиганов — преподаватель института, постоянно преследует (ясно, что с нечистыми намерениями) одну из халкасайских девушек, которую колхоз направил учиться в институт с тем, чтобы она высококвалифицированным специалистом вернулась в родной кишлак.

Ректор, получив жалобу, поморщился, как от зубной боли, но сам рассматривать не стал — передал в комитет комсомола. Члены комитета комсомола обсудили жалобу и... единогласно объявили выговор. Устный. Без занесения в личное дело. Я обиделся:

— На каком основании?! За что выговор?

— За то,— серьезно ответил секретарь комитета комсомола.— За то, что ты своей нерешительностью и слабохарактерностью довел дело до появления подобных жалоб. За то, что сплетни про вас с Рухсорой стали появляться. Ты что думаешь, мы не понимаем, что вся эта жалоба от начала до конца — злобная клевета? — вдруг взорвался секретарь.— Ты не маленький — прекрасно знаешь, с каким трудом мы уговариваем девушек из Халкасай учиться в нашем институте! А какая слава теперь про наш институт пойдет? Какие родители согласятся отпустить ненаглядных дочерей к нам, если здесь преподаватели «преследуют» студенток?! Мы твои чувства к Рухсоре уважаем, но твоя любовь в данных обстоятельствах, не только твое личное дело!

— А чье же еще?— не сдержался я.— Комитета комсомола?

— И комитета комсомола тоже,— твердо сказал секретарь.— Давно бы мог прийти к нам и сказать! «Помогите, ребята. Мы любим друг друга, а родители против...»

— Ну и что?

— Вот походи и подумай: «Что?»

...Рухсора избегает меня. Прячется. Во время наших коротких и случайных встреч на лестницах и в коридорах института мне кажется, что все вокруг вдруг замолкают и смотрят только на нас. Усмехаются. Шепчутся. Много позже Рухсора мне призналась, что у нее было точно такое же чувство. А, наверное, никто и не шептался, до сих пор не могу понять, почему нам так казалось?

...Попросил Манучехра передать Рухсоре записку с просьбой о свидании.

...Никому не дано испытать яд ожидания в большей мере, чем влюбленному. Говорят, что ожидание хуже смерти, и это несомненно. Также несомненно, что эти слова впервые произнес влюбленный, который, как и я, более двух часов ждал любимую... А она не пришла.

Утром я разыскал Манучехра, и можете себе представить, какой у нас с ним получился разговор. В результате Манучехр вновь принялся ругаться, а потом пообещал еще раз встретиться с Рухсорой.

... А она вела себя так, словно ничего особенного не случилось. Подошла, кокетливо покачивая на указательном пальце изящную сумочку, «мило улыбнулась и принялась болтать о всевозможных пустяках. Как будто нам больше и говорить не о чем!

— Оказывается, тебя сватать приходили,— резко прервал я кокетливую болтовню Рухсоры.— А ты даже и не сказала мне!

— Кто это тебя просветил? — насупилась Рухсора.— Кому это понадобилось?

— Сказали,— коротко буркнул, я и отвернулся.

— Нет, ты скажи,— настаивала Рухсора, заглядывая мне в глаза.

—Инобат сказала.

—Ах, вот оно что! — иронически улыбнулась Рухсора,— Твой благожелательный друг! И чего это она в наш институт не поступает? Все ближе была бы...

— Зря ты так... Инобат нам друг и желает только добра,— я все еще сердился, и Рухсора почувствовала это.

— И что же она сказала, твоя Инобат?—колко и холодно спросила она.

— То, что ты сама должна была сказать! — окончательно рассердился я.— Что к тебе «покупатели» приходили.

— И все? — хихикнула Рухсора. И все также кокетливо размахивая сумкой, беспечно доложила.— Трое приходили. Честное слово, я не знала, что они придут. Мне на перемене сказали, что родственники ждут... Я обрадовалась, в вестибюль выскочила, а там... эти... стоят. Что же, мне их палкой гнать? Пришли — пусть смотрят.

— А мне, почему не сказала?

— Боялась, что расстроишься! — Рухсора умоляюще посмотрела на меня, и я не выдержал — улыбнулся.— Когда Джура-заде меня сватать ездил, ты мне ничего не сказал,— укорила меня Рухсора.

— О том, что он собирается ехать в Халкасай, я тебя предупредил, а вот когда он поедет, я и сам не знал... А почему это тебя так задело?

— Да, понимаешь,— смутилась Рухсора,— у нас, в Халкасае, не принято просто так... Без предупреждения свататься.

— Как это? — не понял я.

— Ну-у... Обычай такой. Вначале через знакомых передают, что свататься придут, а сами не приходят. Потом еще раз передают, и еще... И лишь потом сваты приходят, но разговаривают намеками. Считается, что это означает серьезные намерения. Встречаются не один и не два раза...

— Что же, мне еще раз уговаривать Джура-заде на поездку в Халкасай?

— Отец говорил, что порог дома, где живет любимая девушка, очень высок — не у каждого хватит сил взобраться,— лукаво улыбнулась Рухсора.

— У меня этот порог уже вот где сидит,— пожаловался я, постучав ребром ладони по шее.— Скоро с работы уволят — ни одной мысли в голове.

— И правильно сделают! — сердито топнула ножкой Рухсора.— Ты—мужчина! У нас, в Халкасае, настоящие мужчины никогда женщине не жалуются. Я уже тебе говорила, что согласна быть твоей женой, но моя воля в руках у моих родителей. Добивайся у них согласия! Я тебя люблю и никого другого мне не надо, но...

Рухсора резко вздернула вверх голову, отвернулась и замолчала. Я понуро топтался рядом. Что я мог сказать? Что люблю ее? Она и так это знала...

— Глупый ты,— неожиданно ласково сказала Рухсора—Глупый и бестолковый. Поделом тебе выговор дали,— вздохнула она.— Это же сообразить надо — с Манучехром в Халкасай поехать! Хорошо, хоть там на вас собак не спустили — вот весело было бы!

— Кому весело, а кому и нет,— нервно усмехнулся я, вспомнив, как мы с Манучехром пробирались по огородам к шоссе.

— Мы — люди деревенские, неученые, у нас незваных гостей просто встречают... и провожают,— кротко потупилась Рухсора.— У нас

девушек ценят... Вот будет у самого дочка,— покраснела Рухсора.— Узнаешь, каково это — постороннему человеку дочь отдавать!

— Ты как старушка рассуждаешь.

— Не обижайся,— ласково пропела Рухсора. У нее была удивительная способность петь самые обычные слова. Не говорить, а именно петь — легко и мелодично — Знаешь, я думаю, что тебе надо к ректору сходить. Уж, если сам в Халкасай приедет — отец не устоит...

— Неудобно,— засомневался я.— А вдруг не согласится? Если бы с самого начала... А то... Джура-заде уже ездил...

— А ну тебя! — вновь сердито топнула ножкой Рухсора.— На одну ступеньку подняться не можешь, куда уж тебе все крыльцо одолеть!

Я смотрел и любовался. Ну, скажите, есть ли на свете другая такая девушка: сердитая, ласковая и кокетливая одновременно. И гордая. И... моя!

* * *

Осень в наших краях — лучшее время года. По утрам небо такое чистое, что все вокруг кажется хрустально-тонким — тронь и зазвенит. Летом утренние зори полыхают алым пожаром, и зной с рассвета залива-ет долины. Осенние зори нежны и прозрачны, а солнце золотой чашей, медлительно и величаво, всплывает над зубцами гор.

Еще очень рано. Над смутно белеющей стеной хребта только-только, появилась легкая голубизна, с каждой минутой темно-фиолетовое ночное небо наливается этой легкой голубизной, в которой угадывается долгий и ясный день, полный вот такой легкой голубизны, дрожания паутинок и особой чистоты воздуха. Вода в ручье тоже набирает голубизну — вода очень чистая и очень холодная. Я черпаю воду ладонями — она пахнет осенью: палым листом и заморозками; лицо и плечи уже горят, но мне хорошо, я с детства привык к холодной воде.

Этой осенью студенты нашего института уехали на уборку хлопка в колхозы Вахшской долины немного раньше обычного — синоптики обещали скорую непогоду, но пока ничто не предвещало ее, дни стояли сухие и солнечные. Мы — студенты и молодые преподаватели, почти месяц живем в этом колхозе, но за этот месяц я только один раз видел Рухсору — приезжала на центральную усадьбу за покупками в магазин. Первокурсники жили довольно далеко от центральной усадьбы, почти у

самых холмов, что желтовато-размытыми тенями виднелись у горизонта — там колхоз осваивал целинные земли. По вечерам, возвращаясь с поля, я умывался в ручье, ужинал и уходил на край села в сад, где подолгу сидел, уносясь мыслями вдаль.

Лишь к концу месяца мне представилась возможность увидеться с Рухсорой — Исрофилзаде, руководитель группы первокурсников, уезжая на несколько дней в Душанбе, уговорил наше руководство назначить меня его заместителем. «На несколько дней», — говорил он, но эти «несколько дней» растянулись на целый месяц, и не хотел бы я, чтобы в моей жизни этот месяц повторился еще раз!

Без преувеличения могу сказать, что этот день был самым длинным в моей жизни. К вечеру я искурил чуть ли не две пачки сигарет, и едкая горечь уже обжигала мне губы, но я глотал табачный дым, прикуривая сигарету за сигаретой трясущимися от волнения руками. Курил и восстанавливал в памяти все события минувшей недели.

...С первого же дня своего руководства группой первокурсников, я, как вол, впрягся в работу. Высокочтимый и сладкоречивый Исрофилзаде совершенно не вел никакой документации на собранный студентами хлопок, непонятно было, сколько денег мы должны были колхозу за питание, а сколько — колхоз нам, за собранный хлопок. Три дня я мотался от бригадира к табельщику, от него в правление колхоза, и вновь к бригадиру, пока не выяснил все досконально и не навел порядок в документации. Самое обидное было в том, что Исрофилзаде не считал нужным представить меня бригадиру и табельщику как преподавателя института, и они считали меня студентом, назначенным на должность учетчика. Каюсь, но у меня не хватило духу и желания разубедить их. Какая, казалось мне, разница, кем я работаю в институте, главное, что мы все делаем одно общее дело!

По возвращении из Душанбе Исрофилзаде полистал документацию, поговорил с бригадиром и, разыскав меня, объявил, что у него важные дела в «Штабе урожая», что вернется он лишь поздно вечером, и мне следует его непременно дожидаться. Поздно вечером он привез приказ о том, что я остаюсь в группе первокурсников до конца уборочной страды.

Я с радостью согласился, но попросил неделю отпуска, сказав, что отец просил немедленно приехать — что-то случилось дома. Не мог же я сказать Исрофилзаде, что случилось дома!

А дома случилось вот что: Рухсора ездила на пару дней в Халкасай и привезла удивительно-невероятную весть: ее родители ждут моих сватов!

У меня все пело от радости и трепетало от страха в душе, когда я разговаривал с Исрофил-заде, и он весьма подозрительно на меня поглядывал, но на поездку согласился легко:

— Как не уважить просьбу отца! Почтение к родителям искони в крови нашего народа!

Ну и пришлось мне поволноваться за эти дни — врагу не пожелаю! Первым делом предстояло уговорить отца, а это было весьма нелегкое дело. Еще весной, предвидя будущее распределение, отец решил, что работать я должен в родном колхозе, а для этого меня надо, если не женить, то обручить с хорошей девушкой из наших краев. Во время подготовки к сдаче госэкзаменов, когда у меня выдалось несколько свободных дней, а я имел неосторожность сообщить об этом отцу, ко мне в гости вдруг приехал двоюродный брат Хамид. Приехал и уговорил поехать на несколько дней к нему в кишлак — отдохнем, в горы ходим, свежим воздухом подышим! Я согласился и лишь в кишлаке понял, для чего меня сюда пригласили: у дальней нашей родственницы подросла красавица-дочь и... Отец был обижен до глубины души, родственники оскорбились, один лишь Хамид, посмеиваясь, подбадривал меня: «Держись, брат!» Не улучшились наши отношения с отцом и в мой последний приезд к нему, сразу после больницы, когда я довольно туманно намекнул ему, что есть в Душанбе одна девушка, которая...

Отец нахмурился и сказал, что «землю для хорошего сада надо брать из высокого бугра», что «женитьба — не напасть, да как бы женатому не пропасть» и так далее. Вы понимаете, что ничего другого отец и не мог сказать — с Рухсорой я его познакомить не имел возможности, а на словах достоинства девушки не опишешь. Я ехал к отцу и ломал голову: как же уговорить его?

Помог все тот же Хамид. Как он ухитрился это сделать — не знаю, но вчера утром я встречал на автовокзале самых дорогих гостей: отца и дядю, раздетых, как будто они собрались на слет ветеранов боевой и трудовой славы.

...Вечерело. Я стоял у окна и трясся, как в лихорадке: сватам давно пора было бы вернуться — они отправились в Халкасай с первым

автобусом. «Что я буду делать, если им откажут? — думал я.— Дядя повидал свет, знает людей и свою линию будет вести твердо, его даже отказ не смутит, а вот отец мой — человек вспыльчивый. Привык ко всеобщему уважению, не дай бог, посчитает себя оскорбленным! Он же мне этого никогда в жизни не простит!»

За окном на улице вспыхнули фонари, широкими пятнами выхватив из сгустившейся тьмы часть переулка, дом напротив общежития, скамейки в палисаднике... Я отошел от окна, походил по комнате, собирая разбросанные вещи, сходил на кухню, поставил на пазовую плиту чайник, дождался, когда он закипел, и заварил большой чайник зеленого чая. Едва я укутал чайник полотенцем, как дверь распахнулась, и отец с дядей появились на пороге. Они улыбались! Они улыбались так широко, что сердце у меня подпрыгнуло от радости.

— Все в порядке, дорогой! Все в порядке! — раскатистым басом грохнул дядя и, тяжело опустившись на стул, принялся стаскивать сапоги,

Отец мой, степенно раздевшись, сел на диван и с довольным видом подтвердил:

— Приятный и прямой человек отец этой девушки.

О, каким чудесным оказался этот вечер, первый понастоящему добрый и радостный вечер после стольких дней волнений и тревог!

Дядя, человек богатырского телосложения, широкоплечий и громкогласый, рассказывал некоторые подробности переговоров:

— Поначалу—вот потеха!— мы попали в дом к совсем другому человеку. Сошли с автобуса, спросили у какого-то мальчишки, где дом Асрорбая, он нам и показал... Подошли мы, постучались, выходит к калитке девушка. Красивая девушка, ничего не скажешь. «Ну,— думаю,— повезло: сама невестка будущая дома оказалась». Спрашиваю: «Это дом уважаемого Асрорбая?» «Да!» — отвечает она. Вошли. Встретил нас седобородый, почтенный человек. «Проходите,— говорит.— Присаживайтесь. Наверное, устали с дороги?»

Ты говорил, что отец Рухсоры— мужчина средних лет, а встретил нас белобородый аксакал, удивился я, но промолчал... В гостиную прошли, девушка чай принесла... Сидим, чай пьем. Одну пиалу, вторую, третью... О погоде разговариваем, видах на урожай. Потом я тихонько спрашиваю:

— Скажите, уважаемый, это не ваша дочь в Душанбе в институте учится?

Старик чаем поперхнулся от удивления. А потом понял, в чем дело, и расхохотался:

— Ошиблись вы! Дом того Аорорбая, которого вы ищете, в другом конце кишлака за мельницей.

Что делать? Извинились за беспокойство и дальше пошли.

— Бог знает, что у них на уме,— невпопад сказал отец, задумчиво поглаживая бороду.

Я с беспокойством взглянул на него. По нашим обычаям, отцу с сыном не полагается разговаривать о женитьбе, и дядя поспешил пояснить:

— Условие они нам поставили. И не одно. Во-первых, чтобы ты дом в городе купил на имя жены. Не желают они, чтобы их дочка в многоквартирном доме мучилась. А во-вторых, они от тебя расписку требуют. Так, мол, и так, обязуюсь никуда из Душанбе жену не увозить...

— Откуда я столько денег возьму — дом купить?!

— Э-э! — беспечно отмахнулся дядя — Это все разговоры. Я уже раз двадцать сватом был — знаю, что к чему. Не беспокойся.

— Бог знает, что у них на душе,— вновь повторил отец и вздохнул.— Ты уж в следующую субботу встречай нас, сынок.

— Угу! — кивнул дядя.— Нас человек шесть-семь будет. Угощение с собой привезем, подарки кое-какие...

Утром я проводил отца и дядю на автовокзал, а сам поспешил в Вахшскую долину: меня ждала Рухсора! В первый раз в жизни я понял, что это такое, когда говорят: «У человека душа поет!». Я готов был обнять весь мир! В каждом я видел друга, каждому мне хотелось сообщить, что самая прекрасная девушка на земле — со вчерашнего дня моя невеста!

Удивительно, но Рухсора не поверила моим словам! Она долго расспрашивала о подробностях сватовства, недоверчиво качала головой, молчала, задумавшись о чем-то своем, и вдруг зарделась:

— Не говори никому ни слова!

Тронула пальчиком мои губы и убежала, проговорив вместо прощания:

— Как это они согласились?!

С этого дня она вновь стала избегать меня. Во время редких и торопливых встреч краснела, задыхаясь от волнения, шептала несколько ласковых слов и спешила прочь. Что творилось с ней? Она и сейчас не говорит об этом — лишь по-девичьи краснеет и надувает губы...

А между тем пошли давно обещанные синоптиками дожди— мелкие и теплые. И грустные. Дожди смыли зелень на слегка приведенных деревьях, но это была уже не праздничная — весенняя зелень, когда после первого дождя она вспыхивает свежо и молодо, а темная, тяжеловатая зелень увядающей природы, расцвеченной широкими мазками золота и багрянца. Томительные это были дни, томительные и грустные. И несчастливые. Воистину, высок порог дома, в котором живет любимая.

11. КОГДА ВОСХОДИТ КОМЕТА - ПАДАЮТ ЗВЕЗДЫ

Говорят, что комета — верная примета несчастья. Увидев на небе комету, старики, в крайнем изумлении и страхе, хватают себя за ворот и шепчут молитвы. Все дни прошедшего месяца отмечены для меня вот такой незримой кометой несчастья, и я иногда думаю, что именно сейчас наставница-жизнь разложила передо мной свои экзаменационные билеты, решив испытать все мое мужество.

Мог ли я думать, что грозным предвестником этой незримой кометы станут мягкие слова Исрофил-заде:

— Послушай, Вафо. Я на несколько дней на центральную усадьбу съезжу, а ты побудь здесь за меня.

Это было в четверг, в субботу я должен был быть в Душанбе — встречать отца, но Рухсора строго-настрого запретила говорить о нашей помолвке, и — что делать?! — я согласился.

Несчастье случилось вечером. Я задержался с табельщиком, подводя итоги дня, и, когда подходил к полевому стану, где расположилась моя группа, уже смеркалось. Еще издали я заметил, что ребята возбужденно толпятся у входа, в помещение.

— Что случилось? — тревожно спросил я, подбегая к ребятам.

— Камолу плохо! — несколько голосов ответило сразу, но я уже и сам видел, что Камол, бледный, как полотно, лежит на раскладушке, его

бьет крупная дрожь, а на посиневших губах выступила пена. Я кинулся к складу, где стояла машина, ожидавшая табельщика. Еще на полдороге к складу, я услышал приглушенный расстоянием рев мотора и увидел, как машина рванулась по дороге к кишлаку.

— Стой! Стой! — закричал я что было сил, но машина, набирая скорость, удалилась.

«Лошади! — вспомнил я.— На поле у склада пасутся лошади!»
Прошло не менее получаса, пока я поймал стреноженную старенькой уздечкой лошадь и взнуздal ее. Вот когда мне пригодилось приобретенное в детстве умение скакать на любой лошади без седла. Я гнал жеребца напрямик через хлопковые поля и даже не думал о том, что любая яма—верная гибель для нас обоих.

К сельской участковой больнице я домчался к полуночи, разбудив по дороге всех кишлачных собак — надо было слышать, каким яростным лаем провожали они меня по кривой кишлачной улице!

Еще через час мы вместе с врачом были у нас, на полевом стане.

Заснул я уже под утро — врач увез Камола в свою больницу, сказав, что ничего определенного он мне сообщить пока не может. Утром я отправил ребят на работу, а старосту предупредил, что поеду в больницу и, возможно, вернусь только через день-полтора... Староста, угрюмо кивнув, пообещал, что все будет в порядке.

В больнице тревога моя немного улеглась. Камол сидел на своей койке и слабо улыбался:

— Ну и перепугал я вас!

Пока я дождался врача — он был на обходе участка, время шло. Со все возрастающей тревогой я посматривал на часы. Времени, чтобы вернуться обратно к ребятам, рассказать им о состоянии здоровья Камола, проинструктировать старосту и, вернувшись в кишлак, попасть на автобус до райцентра, почти не оставалось.

Его не осталось совсем, когда, наконец, появился врач. Врач успокоил меня, с Камолом ничего страшного—видимо, сильна аллергия на какую-нибудь траву (Камол подтвердил это, пояснив, что собирал для девушки цветы — хотел бы я знать, какие цветы поздней осенью!), но времени на разговоры уже не оставалось, и я помчался к сельсовету, надеясь встретить кого-нибудь из нашей бригады, кто может сообщить ребятам о том, что с Камолом все в порядке. И надо же мне было встретить именно нашего табельщика!

Выслушав мою просьбу, он недовольно скривился, но выручить согласился, хитро подмигнув и пожелав приятно провести время в Душанбе.

— Я тоже в молодости грешил! Дело такое... не удержишься!

Не буду же я объяснять незнакомому человеку, что еду решать свою судьбу!

Лишь далеко за полночь я добрался до Душанбе, и сна мне осталось четыре часа, потому что ровно в восемь я уже встречал на автовокзале своих земляков и родственников, нагруженных какими-то свертками, кулками, расшитыми хурджинами. О, как торжественно выглядели они! Как степенно, с каким достоинством переговаривались! Всяк мог определить, что люди едут на торжественное и важное событие! «Переломить лепешку!» — так называется у нас этот обряд, когда люди клянутся свято соблюдать свадебный уговор, и в знак нерушимости клятвы подносят к губам хлеб, целуя его!

Проводив сватов в Халкасай, я дотемна бродил по улицам города, не замечая ни улиц, по которым бреду, ни прохожих — весь во власти охвативших меня дум.

Как-то так получилось, что до сегодняшнего дня я ни разу не задумывался о нашей с Рухсорой будущей жизни, о доме, семье... Все это казалось мне настолько далеким и нереальным, что мысли об этом не приходили мне в голову. И только сегодня я вдруг почувствовал себя ответственным за судьбу Рухсоры, судьбу нашей — нашей! — семьи. Как я ругал себя за беспечность! У меня ни копейки денег не было на свадьбу, нам негде было жить... С каждым часом я мрачнел все более. «Беспечный дурак! — ругал я сам себя.— Столько времени морочишь девушке голову, а ты подумал,, какую жизнь ей готовишь? Давным-давно мог бы найти работу по совместительству... Давать уроки, разгружать вагоны на станции — мало ли возможностей заработать!»

Ветер метнул мне в лицо пригоршню дождевых капель, и я вдруг опомнился. Уже смеркалось. Пока я в полубеспамятстве бродил по городу, погода испортилась. Пошел дождь, холодный ветер мел по асфальту сырую листву, вершины деревьев раскачивались под яростными порывами ветра и жалобно скрипели.

Я поспешил к общежитию. Какой-то человек топтался у ворот и, приглядевшись, я вздрогнул: дядя! «Почему он вернулся? — не веря глазам своим, думал я.— И куда делась его богатырская осанка? Что слу-

чилось?» Я знал, что сваты должны остаться в Халкасае до завтрашнего дня, сегодня вечером им предстояло объявить кишлачным старейшинам о помолвке и пригласить их завтра на плов, который, по обычаю, должны готовить сваты.

— Что случилось?!— закричал я еще издали.— Что?

— Э-э! Не спрашивай,— дядя печально вытер ладонью мокрое от дождя лицо.— Нет у этих людей ни чести, ни совести. Пойдем в дом, все расскажу.

В комнате дядя скинул с себя пиджак и мокрые сапоги, дождался, пока я вскипятит чай, и продолжал рассказ :

— Я первым пошел. Остальных в чайхане оставил— неудобно сразу заходить, люди подготовиться должны. Ее отец меня встречает и говорит: «После вашего ухода мы еще раз посоветовались, и выяснилось, что мать девушки не согласна. Без согласия матери какой может быть разговор?» Я оторопел даже. «Мы о чем договаривались? — спрашиваю.— Шутка ли стольких людей с места сорвать! Позор на наши головы!» А он свое: «За одну провинность сурово не наказывают. Извините нас!» Ну что ты с ним делать будешь? Так несолоно хлебавши и ушли. В чайхане старики собрались, судили, рядили, бородами трясли, руками разводили: «Не по-мужски поступает!»...

Отец твой обиделся, слов нет! Хорошо, что тебя не застал. Домой уехал. Один я остался — с тобой переговорить....

Дядя отхлебнул из пиалы и внимательно посмотрел на меня. А чего на меня смотреть? Нечего смотреть. Я до ломоты в челюстях сжал зубы — от злобы, ярости, обиды и возмущения меня бил нервный озноб. Все во мне, словно от удара молнии, выгорело, испепелилось....

Вдруг дядя громко выругался, глаза его сверкнули дерзко и хищно.

— Езжай-ка ты к своей девчонке,— проговорил он медленно и хрипло.— И докажи всем этим... халкасайцам, что в нашем роду... настоящие, мужчины...

— Нет! — почти вскрикнул я — Нет!

Боль раздирала мне грудь, адская боль ярости и... любви. Но даже эта боль не давала мне права понять дядю. Не давала! Не имела права давать!

— Нет, так нет,— хищный огонек в глазах дяди мелькнул и погас, он сник и печально вздохнул. — Я не говорил, ты не слышал.

— Ладно,— сказал я, чувствуя, что ярость уступает место твердой уверенности в том, что я добьюсь своего. Я еще не знал—как, но где-то в глубине души верил, что добьюсь. И повторил: — Ладно!

— Ну что ж,— вздохнул дядя.— Ладно, так ладно. Но ты не сдавайся.

— Я и не сдаюсь.

— Вот это самое главное.

Такой у нас вышел разговор.

Беда никогда не приходит одна, и в понедельник утром, когда я пешком пришел на полевой стан бригады — всю дорогу, около сорока километров, от райцентра до полевого стана я прошагал пешком, попутных машин не было, меня встретил грозный взгляд декана:

— Вы где гуляете, бессовестный человек?! У вас студент едва не погиб, а вы изволите по ресторанам разъезжать! Вы опозорили высокое звание преподавателя института, бросив, ради собственных неблагоприятных делишек, умирающего человека; студенты третий день голодают — им не подвезли продукты, а вы?! Как вы смеете себя так вести?!

— Прошу прощения...

— Какое вам еще прощение?! — покраснел от гнева декан.— Вы бессовестный и низкий человек! Ваш поступок мы обсудим на ректорате! Благодарите бога, что уважаемый Исрофил-заде вернулся и вызвал врача! Иначе вас бы судили! Немедленно!

Декан хлопнул дверцей вездеходика и, не слушая моих жалких попыток объясниться, укатил на центральную усадьбу.

Незаметно подошедший Исрофил-заде хлопнул меня по плечу.

— Не переживай, старик. Декан горяч, но отходчив. Это болван-староста бучу поднял. Тут одно на другое нашло. Табельщик забыл старосту предупредить, староста (помнишь, я предостерегал тебя, чтобы ты не так сурово с ним на зачетах обходился) решил поставить в известность руководство... Не огорчайся: перемелется — мука будет. Часика через два подходи к хлопковому складу, бригадир приглашал позавтракать...

У меня голова шла кругом. «Господи, за какие грехи! — думал я уныло.— Что я Рухсоре скажу?»

С Рухсорой разговора не получилось. Когда я сообщил ей о том, что мои сваты вернулись ни с чем, она, испуганно взглянув на меня, прижала к щекам покрасневшие ладони:

— Я так и знала!

— Что — знала?

— Отец прислал письмо... Он пишет, что заходил в институт, разговаривал с каким-то уважаемым преподавателем и тот плохо отозвался о тебе. Сказал, что тебя скоро уволят...

— Этого еще мне не хватало! — пошатнулся я. — Кому я мешаю жить? Кому?

— Не знаю! — Рухсора все еще закрывала ладонями алые щеки. — Почти все преподаватели на хлопке. Только ты да Исрофил-заде бывали в эти дни в институте...

— Я-а? Исрофил-заде? — я ошарашенно хлопал глазами. — Ну, ладно!

Повернулся и пошел к хлопковому складу.

— Ты куда? — слабо вскрикнула Рухсора, но я даже не обернулся.

Бригадир встретил меня на пороге маленькой кибитки, прилепившейся к высокой стене склада. Честно говоря, бригадир мне нравился. Высокий, полный, он целыми днями пропадал в поле, одну за другой объезжая хлопковые карты. Мне нравилось, как он разговаривал с людьми — мягко, но твердо, нравился его открытый и чуть ироничный взгляд, его раскатистый голос. Чем-то неуловимом бригадир напоминал мне моего дядю, а я всегда любил его.

— Здравствуй, сынок! — бригадир широко распахнул свои объятия. — Пусть минуют тебя всяческие горести и заботы! Вчера наша бригада выполнила обязательство и в этом есть немалая доля твоего труда, сынок. Поверь мне — старому человеку, я многое повидал в жизни, пришлось даже колхоз возглавлять, и прямо скажу — рабочий ты человек. Трудящийся. Я слышал, что у тебя неприятности, — бригадир наклонил голову, заглядывая мне в глаза. — Не переживай. Жаль, не успел я с вашим деканом сам переговорить — опоздал немного, но... Успею. Поговорю. Правда — она всегда правда! Пошли. Посидим, позавтракаем...

Завтрак был роскошный. На дастархане дымилось блюдо с жареным мясом и картошкой, рядом краснели помидоры, зелень мяты и кинзы соседствовала с алой мякотью арбузов...

Многозначительно подмигивая, кривоносый табельщик достал бутылку водки и, ловко распечатав ее, разлил водку в пиалы.

— Пусть уберезет нас бог от глупого друга, бесстыжей жены и всезнающего-начальника,— провозгласил тост Исрофил-заде и ловко опрокинул пиалу в рот.

Бригадир степенно выпил, крякнул, разглаживая ладонью усы, и потянулся к помидорам. Табельщик, сложив трубочкой губы, с каким-то свистом втянул в себя водку и причмокнул от удовольствия. Все смотрели на меня и я, покраснев, хотел было лихо, одним духом осилить содержимое пиалы, но поперхнулся и, закашлявшись, бессильно хватал ртом воздух.

— Ничего,— добродушно усмехнулся бригадир.— Бывает. Ты и не привыкай...

Все дальнейшее я помню, словно во сне. Исрофил-заде наливал мне снова и снова, вначале я отказывался, а потом стал пить подряд, находя в собственной храбрости даже удовольствие. Потом мы стояли во дворе склада и я, сжимая кулаки, обещал Исрофил-заде набить морду. Я прямо так говорил ему:

— Морду набью!

А земля качалась под ногами, и Исрофил-заде смеялся, глядя, как я пытаюсь утвердиться на этой раскачивающейся земле.

Потом я увидел перед собой Рухсору и немного протрезвел. Она что-то говорила мне, но я не слушал, не хотел ее слушать, а хотел избить Исрофил-заде, потому что ясно понимал, это он, только он мог сказать отцу Рухсоры, что меня скоро уволят с работы, что я вырос в детдоме и все родственники мои — проходимцы.

Я это понимал так ясно, что удивлялся, почему меня не слышат все эти люди: Рухсора, бригадир, табельщик, заместитель декана, который почему-то появился здесь.

Проснулся я поздно. Солнце уже стояло высоко, когда я поднял тяжелую голову и огляделся. На полевом стане царила тишина — все были в поле, и это немного успокаивало: хоть без разговоров обойдется. Припомнил минувший день и едва не сошел с ума от стыда и горя: «Что натворил! Уехать! Немедленно уехать отсюда и никогда более не встречаться ни с кем!»

Где-то за стеной взревела машина, я торопливо побросал в чемодан свои вещи и выскочил во двор. У ворот стояла машина с

наращенными металлической сеткой бортами, я бросился к ней и столкнулся с бригадиром. Он посмотрел на меня, мой чемодан и усмехнулся:

— Бежишь? А зря. Если хочешь знать, я больше тебя виноват... Нехорошо получилось, но... Может, оно и к лучшему? — усмешка в глазах бригадира исчезла, уступив место твердому прищуру.— Может, без тебя легче разобратся будет, а? И мне, старому дураку, впредь наука. А тебе один совет: если хочешь драться — дерись на трезвую голову. И до конца.

Бригадир сам открыл дверцу кабины и приказал шоферу завезти меня на автобусную остановку.

— Прощай,— кивнул он мне.— Больше, наверное, не увидимся. А за работу твою спасибо. Умеешь ты работать, сынок. Туго будет, приезжай к нам. Работа найдется.

Больше я никогда не встречался с тем бригадиром, но совет его — драться на трезвую голову и до конца, запомнил на всю жизнь. Только еще не скоро я научился этому искусству...А ведь простая истина.

12. ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

...Неделю я жил у отца. В этом году он пошел на пенсию, в его годы трудно обходиться без сыновьей поддержки — в доме одни женщины, а хозяйство порядочное: дойная корова, восемь баранов, пятнадцать соток огорода... Наш кишлак расположен далеко от райцентра и на базар не наездишься, выручает огород. Выручать-то он выручает, но сколько труда требует! Кто не жил и не работал в деревне, не знает, каким потом каждый клубень картофеля, каждый помидор достается!

С утра до ночи я возился во дворе и на огороде, отец подходил — помочь, но ничего не говорил, только вздыхал. А что тут скажешь, все давным-давно сказано.

Иногда подойдет сосед, постоит рядом, кивнет на отца и тоже вздохнет:

— Тяжело ему. А ведь тебя в колхозе с раскрытыми объятиями примут. Чего уж лучше? Дома, отец с матерью рядом, женишься — дети пойдут... Что человеку надо?

И действительно, что надо человеку, который бросил любимую девушку, потерял любимую работу, опозорился перед всем белым светом? Что надо этому человеку? Целую неделю я до изнеможения трудился по хозяйству, а ночи проводил без сна. Через неделю не выдержал — поеду в Душанбе. Надо же, в конце концов, определяться... Если уволят из института — буду искать другую работу...

В институте меня встретили так, словно ничего не случилось. Даже декан.

— Ну, как там отец себя чувствует? — спросил он приветливо. — Не болеет?

— Прихварывает, — промямлил я.

— Годы, годы берут свое, — развел руками декан — Ну, ничего... После собрания зайдите ко мне...

Декан кивнул и пошел дальше, а я остался стоять дурак-дураком. Какое собрание? О чем? Когда?

Мимо, пыхтя как паровоз, промчался Манучехр — он вечно куда-нибудь опаздывал, и я с трудом остановил его, вцепившись в полу пиджака.

— А, это ты? Приехал? — пыхтел Манучехр, выдергивая пиджак из моих пальцев. — Отпусти. Некогда. Тебя Рухсора ищет. А завтра собрание... Рухсору найди! — последние слова Манучехр прокричал уже набегу.

Я еще с полчаса послонялся по институту и в полной растерянности отправился домой. Во всех религиях мира есть предания о муках ада и блаженствах рая. Чушь это. Нет никакого ни ада, ни рая где-то там, в потусторонней жизни. И ад, и рай — в нас самих. И вот уже неделю я сгораю в адском пламени собственной совести... С этими мыслями я и уснул, что впоследствии очень удивляло меня. Обычно любой пустяк лишает меня сна, а тут... Один разговор с деканом чего стоит!

Утром меня разбудил стук в дверь.

— Не валяй дурака, заходи! — крикнул я и вновь повалился на кровать.

— Ты чего это разлегся? — удивился Манучехр.— Ты же всегда с жаворонками поднимался.

— А что мне делать?

— Как это — что? — еще более изумился Манучехр.— Тебя. Джура-заде уже неделю ждет...

— Я ухожу из института.

— Ты с ума сошел!— возмутился Манучехр.— Ты с Рухсорой разговаривал?

— Нет еще.

— О, боже! — картинно схватился за голову мой друг.— И это говорит человек, которому самая прекрасная девушка вселенной отдала свое сердце! Да знаешь ли ты, жалкий трус и дезертир, на что способна женщина, когда она любит?! Нет, ты не знаешь этого и не достоин знать! Лишь в память о былой нашей дружбе я могу сообщить тебе, что она поехала в свой Халкасай, и только перья полетели от всех тех, кто стоял у нее на пути!

Манучехр еще трепался, а я уже торопливо натягивал свитер.

— Пстой, мой друг, пстой! Не покидай так скоро! — пропел он фальшиво, обхватив меня за плечи.— Ты не забыл, что сегодня собрание и тебя будут чистить с песком и мылом?

— Какое собрание? — остановился я.

—Комсомольское собрание преподавателей института,— торжественно объявил Манучехр.— Твой вопрос в повестке дня — третий. Выговор с предупреждением можешь считать обеспеченным!

Так вот, оказывается, в чем дело! Вот почему мой друг так болтлив и весел — хочет поддержать и подбодрить... Ладно, собрание потом, главное сейчас — разговор с Рухсорой!

Я мчался к институту и клял себя на чем свет стоит. Эх, Манучехр, знал бы ты, что твоя ругань — райская музыка по сравнению с теми словами, которыми я обзывал сам себя! И как такого самодовольного чурбана земля носит! И...

— Вафо!

Голос Рухсоры я узнал бы среди миллионов других девичьих голосов, а окликнула меня именно она!

Рухсора стояла совсем рядом—руку протянуть — и улыбалась, глядя на меня.

Стоит ли рассказывать о дальнейшем?

О том, как меня чистили и драили «с песком и мылом» на комсомольском собрании? И, надо признать, что справедливо драили, потому что, как вновь повторил наш суровый секретарь комитета комсомола, «дело это не только личное»...

О том, что самый главный сюрприз ждал меня после собрания, когда мы вместе с Манучехром отправились к дяде Рухсоре. И как вы думаете, кем оказался этот дядя? Даю слово, вам и в жизнь не догадаться! Тем самым суровым добряком Джавад-заде, тем учителем, с которым я вместе лежал в больнице! И... дай бог счастья Инобат, потому что это она связала концы с концами во всей этой истории.

Но это случилось не в тот день. И даже не в другой. А в тот прекрасный день мы возвращались от Джавад-заде поздно ночью, Рухсора осталась ночевать в доме дяди, а Манучехр шел и кричал мне в ухо:

— После поездки в колхоз... Ты заметил? Рухсора переменялась! Я теперь спокоен на ее счет. А ты как думаешь?

— Я тоже,— коротко ответил я, чтобы он замолчал и не мешал мне думать.

О чем я думал?

Если считать, что с институтской скамьи я поступил в школу жизни, то сегодня я окончил первый класс. Какие оценки мне поставила жизнь? Сам я считал, что все экзамены, кроме единственного — любви к Рухсоре, я провалил с треском. И это — первый жизненный урок, который я уже не забуду, первая ступенька на крыльцо в дом, который называется «Настоящий человек».

Итак, моя повесть подходит к концу. Нет необходимости описывать подробности нашей свадьбы. Почти все свадьбы похожи друг на друга. И наша свадьба ничем особенным не отличалась: полусовременна, полутрадиционна... Многие могут сказать, что и эта повесть о любви не нова — каждый любил, и многие писали о своей любви. Все это верно, почти так же верно, как то, что все простые истины на земле каждый должен открывать сам.